Оглядываясь назад

Анастасия Александровна Баранович-Поливанова

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Воспоминания Анастасии Александровны Баранович-Полпвановой посвящены памяти ее матери, Марины Казимировны Баранович, друга Б.Л.Пастернака, печатавшей рукопись романа «Доктор Живаго». Диапазон книги очень широк: от характерных черт и деталей «немыслимого быта» до живо и нестандартно написанных портретов Б.Л.Пастернака, А.И.Солженицына, Л.З.Копелева

- Про ту среду.
- I. Предыстория [1] «Повесть наших отцов»
  - ○
- II. Довоенное детство
- III. Картинки из жизни военных лет
- IV. Впечатления послевоенной поры
- V. Несколько штрихов из жизни 50-х—60-х
- notes
  - ○ 1
  - ○ 2
  - ○ 3
  - ○ 4
  - ○ 5
  - ○ 6

Про ту среду.

Писать предисловие к современным мемуарам — дело почти безнадежное. И в старинных воспоминаниях авторский, то есть неизбежно субъективный, образ далекой;»нохи не менее важен, чем таящаяся за ним «реальность». Но там «срок давности», отделенность от нас уже «застывших в историю» событий, дает простор для чисто исследовательских, комментаторских уточнений. Одни мемуары поверяются другими (и прочими историческими источниками — от официальных документов до приватного эпистолярия), историк-комментатор — в меру своих дарований — открывает то, что ускользнуло из памяти мемуариста случайно, было сознательно вынесено им за скобки, а то и препарировано в соответствии со «своеобразием текущего момента» или собственной общественно- культурной позицией. Разумеется, подобного рода работа может производиться и над мемуаристикой новейшей, но все же, пока прошлое властно вмешивается в дела настоящего, пока историк, а не только мемуарист, ощущает себя прямо включенным в смысловое поле «предмета воспоминаний», его суждения не менее субъективны, чем воспоминания, которые он пытается корректировать. Тем более, если речь идет не о частных и конкретных сюжетах, но о «шуме времени», духе эпохи. На мой взгляд, именно об этом и написана книга Анастасии Александровны Баранович-Поливановой. Читатель, знакомый с ее воспоминаниями по журнальным публикациям, может выдвинуть два возражения. Во-первых, мемуары А.А. насыщены вполне конкретными частностями (игрушки, книги, яства, спектакли, платья, магазины, допросы, развлечения, аресты, пейзажи, школьные и университетские реалии и т. п.), а многие их страницы отведены под выразительные, уж никак не «парадные», портреты самых разных и по-разному замечательных людей — от родственников и школьных подружек до Пастернака и Солженицына. (Особенно живо, по-моему, нарисован Лев Зиновьевич Копелев.) Но в том-то и дело, что «портреты» и «предметы» живут здесь не изолировано, но в едином «музыкальном» потоке. Всякая деталь, словно бы без всяких авторских усилий, оказывается «рифмующейся» со многими иными, необходимой для воссоздания трудно уловимого образа той уникальной культурной среды, что не только систематически уничтожалась советской властью, но и почиталась несуществующей. Речь идет о недобитой дореволюционной интеллигенции и мучительно рождавшейся

интеллигенции новой. (Не путать с «интеллигенцией нового типа», активно взращиваемой временными хозяевами России. Ее представители, впрочем, тоже возникают в книге А.А. — чего стоит воссозданное с брезгливой точностью мурло «литературоведа» Романа Самарина.)

Здесь-то нас и ждет второе возражение. «Шум времени» и «дух эпохи» — это пятилетки с Магнитками, стахановцы с коллективизацией, «дискоболы» и «девушки с веслами» из ЦПКиО, краснознаменные хоры и «Кубанские казаки», партсобрания и первомайские демонстрации. Или, напротив, Архипелаг, Лубянка, нищая деревня, переполненные поезда, карточки, уголовники и те же самые партсобрания, заканчивающиеся то инфарктом, то посадкой. Но уж никак не «тихое» существование московских интеллигентов — с их прикровенной религиозностью, знанием иностранных языков, походами в Консерваторию, поездками в Коктебель, машинописями недозволенных стихов и долгими разговорами. Но уж никак не обычное детство — с мечтами о красивой кукле, «Серебряными коньками» и сказками Андерсена (без слова «Бог»), школьными радостями-горестями и мхатовской «Синей птицей». Мало же их было! Мало. Хотя как считать. Бесценна всякая личность. Но какого же восхищения достоин каждый из людей, кто сохранил при большевистском владычестве живую душу, не позабыл простых смыслов, стоящих за обесцененными каждодневной фальшью словами «совесть», «долг», «семья», «дружба», «культура», «гений», и сумел передать свой опыт детям и внукам! Проще говоря — незаметно сохранить и спасти русскую культуру. Потому что культура — это не только свершения великих художников и ученых, но и тот круг «обыкновенных» людей, что может, хочет и способен воспринимать, к примеру, стихи Пастернака или музыку

Шостаковича. А это едва ли возможно без сохранения базовых ценностей, без восиитуемого семьей чувства «истории», «дома», «предания» и даже «своего круга». (Что и гут могут стеречь опасные соблазны — тема отдельная.) Сводить вопрос о сопротивлении советской нежити к ной росу о том, кого расстреляли или посадили, а кого почему-то в покое оставили (и даже относительно сносно существовать позволили), значит подчиняться известному тезису «зря у нас не сажают». Сажали по-всякому — как зря», так и «не зря», как скрытых ненавистников режима (открытых в 30 — 50-х было очень мало), то есть тех самых недобитых интеллигентов», так и истовых строителей коммунизма. Сопротивление, о котором, тактично избегая высокого» слова, по сути дела, и пишет А.А., — это не

обязательно сильные поступки. Это сохранение нормы.

Безгрешных людей не бывает. Не было их и в том кругу, что сформировал мемуаристку. О «продажности» и ничтожности» интеллигенции сталинских времен (не юлько прикормленной верхушки!) было наговорено немало. Да, кто-то шел на дурные компромиссы, кто-то искренне хотел «труда со всеми сообща и заодно с правопорядком», кто-то спасался цинизмом, но даже и эти люди не сводимы к их «проступкам» или «ошибкам».

Слово «интеллигенция» нынче не в почете. Все более принято говорить об абсолютности катастрофы, постигшей Россию после 1917 года. Мол, сгинула страна вместе с культурой, а то, что происходит теперь в «культурном сообществе», либо бездарная имитация, либо созидание чего-то абсолютно для нашего Отечества нового — как в цивилизованном мире». Напрашивается вопрос: а откуда, собственно говоря, взялись не только «имитаторы», нкобы тщетно пытающиеся вновь сделать норму нормой, но и открыватели «невиданных перспектив»? Кто-то ведь их воспитывал, прививал навыки самостоятельной ориентации в мире, приучал смотреть как назад (в историю), так и по сторонам (на «цивилизованный мир»). Даже в самые черные времена. Об этом и пишет А.А. Конечно, ей важно сохранить неповторимые лица близких. Конечно, ей хочется рассказать о тех реалиях (иногда — зловещих), что некогда ее окружали. Но не менее важно стремление, прямо отнюдь не декларируемое, сказать о непрерывности культуры. И соответственно — при всей горечи, что сегодня ощущает умный и тонкий, много переживший мемуарист — о возможности будущего. Кни га Анастасии Александровны посвящена памяти ее матери Марины Казимировны Баранович, и хотя говорится о ней далеко не на всех страницах, присутствие этой удивительной женщины чувствуешь постоянно. Марина Казимиров- на не только перепечатывала рукопись «Доктора Живаго», но и была другом Пастернака. Точнее сказать, потому и перепечатывала, что была другом, что воспринимала книгу о постепенно взрослевших в страшные годы «мальчиках и девочках» как послание, к ней лично обращенное, как часть своей жизни. Дерзну сказать, что и Пастернак попросту не смог бы жить (то есть писать) без Марины Казимировны и людей с ней в чем-то сходных. Они были заперты в одной тюрьме и умели, всяк по-своему, ощутить и в ней то дыхание свободы, которым полнится «Доктор Живаго» и что прямо называется на его последней странице. Много раньше в «Высокой болезни» Пастернак писал: Мы были музыкой во льду, / Я говорю про ту среду, / С которой я имел в виду / Сойти со сцены. И сойду… Рано или поздно поэт сходит со сцены. Уходят и

те, кто был с ним по-настоящему рядом. Но как со смертью поэта не кончается настоящая поэзия, так не исчезает и «среда». Разумеется, меняющаяся, терпящая невосполнимые утраты, втягивающая в свою орбиту людей с совсем иной родословной и историческим опытом, отрицающая самое себя. Но существует. И порукой тому, в частности, воспоминания Анастасии Александровны. Не только потому, что охватывают они изрядный временной интервал и читатель может увидеть, как при всех весьма существенных изменениях «внешнего контекста» люди остаются собой. Не только потому, что повествование это невозможно без «голосов» (фрагментов мемуаров и писем) его героев, без которых, видимо, не мог бы звучать и голос автора. Но и потому, что книга эта написана здесь и сейчас, в России конца XX века.

Андрей Немзер

I. Предыстория [1] «Повесть наших отцов»

Памяти моей матери Марины Казимировны Баранович

Маша семья по линии маминого отца, Казимира Феофиловича Барановича, происходила из польского дворянского рода. Его бабка бежала с детьми от Наполеона из Польши в Россию. Еще в начале девятнадцатого века все они осели в Москве. Отец деда окончил медицинский факультет университета и стал врачом. И дальнейшем он приобрел лечебницу на Воздвиженке (впоследствии Кремлевская больница), где лечил всевозможными водными процедурами, главным образом, всякие нервные расстройства. Кроме того ему принадлежал санаторий «Азау» на Северном Кавказе. После его смерти и то и другое перешло к моему деду, также окончившему университет и пошедшему по стопам отца. Мать деда. Ольга, тоже полька, умерла сравнительно молодой, оставив четырех детей, старшего Станислава, Казимира (моего деда) и двух сестер Анжелику и Любомиру. Сын Станислава, Игорь уехал в двадцатые годы за границу и навсегда остался в Париже. Муж старшей сестры — белый офицер, погиб в гражданскую войну, а их самих, не знаю уж какими судьбами, занесло в Феодосию. Анжелика умерла во время войны, а Любомира ушла с немцами. После войны мама получила от нее письмо из Германии, где она жила в инвалидном доме. Она жаловалась на судьбу и мечтала вернуться в Россию.

Дед был хорошим врачом и талантливым организатором — поставленные на широкую ногу лечебница и санаторий пользовались хорошей репутацией; обладая большим шармом, он пользовался любовью пациентов, особенно дам, а обслуживающий персонал его просто обожал. Он был образованным человеком, знал несколько европейских языков, хорошо пел и был одним из лучших танцоров Москвы, нередко открывая полонезом и мазуркой балы в Благородном собрании (Колонный зал). Всю Первую мировую он находился в действующей армии старшим врачом 21-го передового отряда Красного Креста, лечебницу в это время превратили в лазарет, после революции она была национализирована. Некоторое время, правда, Казимир Феофи лович еще оставался главным врачом, но, когда от него потребовали, чтобы комиссаров лечили и кормили по высшему разряду, а простых смертных иначе, он отказался работать на

таких условиях и ушел из лечебницы. В 18-м году К.Ф. был арестован (и выпущен только благодаря тому, что муж сестры его покойной жены, С.Крамер лечил Ленина), больше месяца он просидел в камере смертников. Он вышел из тюрьмы, по словам мамы, другим человеком, — мрачным, суровым, утратившим веру в жизнь и людей и остался таким до конца дней.

В 1899 году Казимир Феофилович женился на моей бабушке, Александре Владимировне Орловой. Мать ее была из крестьян, а отец интеллигент-разночинец, он дружил с Толстым. В семье сохранился рассказ о том, как бабушку, еще девочкой, отец послал с каким-то поручением к Льву Николаевичу, и тот угощал ее гречневой кашей.

В 1901 родилась моя мама, а еще через два года появился на свет ее брат, Максимилиан. При жизни бабушки. Александры Владимировны, они обычно проводили лето в Финляндии, так было и в год ее смерти.

Она заболела дифтеритом и умерла, когда маме не исполнилось и шести лет. Какое-то время дети оставались под присмотром няни, мама ее обожала (помню как она рыдала, вернувшись с ее похорон) и не могла понять, как мог отец отказать ей. когда дети подросли, — ведь она больше чем кто бы то нн было как могла заменяла им мать.

Большое участие в судьбе детей, оставшихся без матери, принимала мамина крестная, Юлия Стукен, ближайшая подруга Александры Владимировны. Мама с братом часто гостили летом у нее на даче в Кунцеве. У тети Юлии были свои дети, так что устраивались разные игры, ставились спектакли, играли в теннис, в этих затеях принимали участие и дети, и подростки, но это было уже несколько позже, когда мама была постарше. Как-то крестная (она была очень богата, ей принадлежал один из первых автомобилей в России) подарила маме шкатулку с драгоценностями, но мамины тетки, решив что мама еще мала, чтобы самой распоряжаться такими вещами, поместили ее в домашний сейф, где она и была реквизирована во время революции. К крестной мама была очень привязана, и та платила ей такой же любовью, но будучи замужем за американцем, она много времени проводила не в России. Дед детьми не занимался, подбрасывая их то одной, то другой тетке, у которых тоже были свои семьи, поэтому в сущности они были заброшены и не знали, что значит родительский дом.

В шесть лет Марину отдали в Хвостовскую гимназию, считавшуюся одной из лучших в Москве. Мама была самой маленькой, и старшие гимназистки играли с ней, как с куклой. Живя одно лето под Москвой, мы встретились с сестрами Хвостовыми, — приветливыми доброжелательными старушками, и я была рада, что познакомилась с первыми мамиными наставницами, также как и с семьей Гнесиных, с которыми дружил дед, а мама в детстве занималась музыкой, уже в конце 40 — 50-х, когда мы бывали на концертах в гнесин- ской школе (а концерты там бывали замечательные: играли Г.Нейгауз, М.Юдина), они не раз зазывали нас к себе, поили чаем, расспрашивали о нашей жизни. Так и сохранились в памяти огромные, излучающие доброту глаза сестер Гнесиных и их пышные седые волосы.

В гимназии, однако, мама проучилась недолго, после чего отец поместил ее в Екатерининский институт благородных девиц (после революции там находился Дом Советской Армии). Сохранился альбом с карандашными портретами, сделанными мамой, ее одноклассниц, чем-то похожих из-за причесок и формы,

и не то, чтобы все до одной красавицы, но общий отпечаток на лицах, вероятно, как у всех девушек шестнадцатого года.

У мамы было много подруг, близкие отношения с которыми сохранились чуть ли не на всю жизнь. Они нередко собирались у нас и вспоминали институтские шалости и проказы. Я и сама без конца могла слушать мамины рассказы о ее детстве и не только о детстве, о вербных базарах, о том, как разъезжали с визитами на Пасху, приедут, похристосуются, посидят пять минут и отправляются дальше, чтобы поспеть ко всем родным и знакомым; о том, какие роскошные елки бывали на Рождество, — одна ее тетушка украшала елку только белым и серебром, а у другой была яркая и пестрая, и невозможно было решить, какая же лучше.

Рассказывала мама и о своих игрушках, из которых, из-за переезда из дома в дом, почти ничего не сохранилось, если не считать случайно уцелевших альбомов с открытками. В них было много открыток Елизаветы Бём, чаще всего иллюстрирующих какую-нибудь поговорку — «Старый друг лучше новых двух», «Сердце на месте, когда вся семья вместе», С.Соломко, рождественских, пасхальных и целый альбом английских, среди которых смешная серия с изображением разных проявлений характера и настроений: «гордость», «хитрость», «ненависть», «презрение» и тому подобное.

Почти каждое лето (зимние каникулы они проводили дома, чаще у теток; всю жизнь мама не могла успокоиться: прослушали все оперы и, разумеется.

только с Собиновым, хоть бы раз сводили на Шаляпина) мама с братом ездили в отцовский санаторий на Кавказе. Пребывание там омрачалось необходимостью облачаться, невзирая на жару, в кисейные или кружевные платья да еще на чехлах, носки и ботинки. И, хотя все больные и прислуга любили их и баловали, радовались они только, когда на некоторое время их отправляли на хутор. Вот где было полное раздолье, но после того как они набирались там куриных вшей, их водворяли обратно в «Азау», и их тетушки и дамы, поклонницы деда, возились с ними, вычесывали, мыли, пока не избавляли от этих больно кусающихся насекомых.

Порой они гостили в Кунцеве у маминой крестной, у той, как уже говорилось, были и свои дети, ставили шарады, спектакли, «танцевали на дачных балах», играли в теннис; снимки тех лет, словно кадры из «Земляничной поляны» Бергмана. — такие же лица, банты в волосах, белые матроски — ничего удивительного, одна эпоха.

Мама очень любила вспоминать лето, проведенное ею в

имении родителей институтской подруги где-то под Курском. Это были небогатые помещики, скучавшие в своем захолустье, но мама наслаждалась тихой размеренной жизнью, бесчисленными домашними яствами, подававшимися к столу, огромным фруктовым садом, где они с подругой паслись целыми днями. Рассказывая о жизни там, мама часто повторяла слова А.Г.Габричевского: «кто не был помещиком, тот не знает, что такое счастье». Эта подруга после революции работала то ли кассиршей, то ли еще кем-то на Белорусском вокзале, держась за это место, как не слишком заметное, подобно многим другим из «бывших», чудом уцелевшим во время чисток. Она часто бывала у нас, пока после какого-то антисемитского высказывания мама, с присущей ей нетерпимостью, не порвала с ней.

Институт мама ненавидела, — решительно все. начиная от формы, классных дам, муштры, казенной обстановки и многочасовых стояний в церкви, вызывало в ней протест. Эти длинные ежедневные службы

М.Н. Баранович с отцом и братом

девочки выдерживали с трудом и нередко падали в обморок. Уроки закона Божьего, начинавшиеся батюшкой с проклятий в адрес Толстого, выводили маму из себя; из религиозной девочки, по ее словам, она превратилась в настоящую атеистку. Хотя для одной ее подружки это был любимый предмет, и когда мама просила ее пропустить (она была еврейка и присутствие на уроке было для нее не обязательно), чтобы занять очередь в библиотеке, та шла на эту жертву только ради мамы. Другие предметы тоже преподавались скучно и неинтересно. На короткое время в старших ступенях (классах) появился молодой учитель словесности, — институтки естественно посходили с ума, — и молодой, и на уроках словно повеяло свежим ветром. Начальство,

конечно, не могло с этим примириться, — институт тот же монастырь, так что его быстро изгнали.

Единственно, что мама вынесла из института, — блестящее знание иностранных языков, в особенности французского — заставляли учить наизусть всего кор- нелевского «Сида», и шила, как белошвейка; приобретенный навык сохранился на всю жизнь.

Кормили скудно и невкусно. Во время прогулок по саду институтки старались подозвать к ограде пробегавших мальчишек и всучить им гривенники, чтобы те купили им калачей. Это было нелегко, так как классные дамы не спускали с них глаз и за подобные проделки строго наказывали. Самое большое счастье, о котором все мечтали, — попасть в лазарет. Когда одна одноклассница болела скарлатиной, остальные норовили дать ей через окно леденцы, а потом сосали сами в надежде заразиться и хоть такой ценой отдохнуть от осточертевшей рутины.

Мама хорошо училась, была одной из первых и шла на медаль, но в последнем классе дед забрал ее из института — началась революция (воспринятая мамой в первую очередь как свободный ветер, вырвавший ее из тюремных институтских стен: правда, не прошло и года, как она оказалась уже в настоящей тюрьме). О дальнейшем обучении не могло быть и речи. — семья бедствовала, ив 16 лет маме пришлось пойти на службу. Брат все-таки закончил университет. На всю жизнь мама сохранила обиду на деда за то, что тот не дал ей возможности получить высшее образование. Неизвестно, правда, удалось ли бы ей преодолеть барьер дворянства, чтобы поступить в вуз: брат учился на медицинском, где у деда сохранились старые связи. Для службы тоже приходилось заполнять бесчисленные анкеты, и когда мама советовалась с отцом, что ей писать в графе «социальное происхождение», а тот отвечал: пиши «дочь врача», мама взрывалась: «не могу же я писать, что я дура».

Помимо отнимающей много сил и времени службы мама успевала заниматься тем, что ей было интересно, а интересы были очень разносторонними: курсы английского по системе Боянуса, посещение лекций по искусствоведению А.Г.Габричевского, занятия в студии М.Чехова, а потом Вахтангова, выступления с чтением стихов в самых разных местах: на домашних литературных вечерах Юлиана Анисимова, в «Синей блузе», в издательстве «Узел», где она впервые встретилась с Пастернаком, знакомство с антропософией и самими антропософами, дружба с некоторыми из них установилась на всю жизнь.

Ближайшим другом до конца жизни оставалась Дарья

Николаевна Часовитина, внебрачная дочь великого князя. Тот встретился с ее матерью в Туркестане, когда занимался там ирригацией. В дальнейшем он следил за воспитанием дочери. Музыкальное образование она получила в Европе, ей прочили карьеру скри- пачки-солистки, уговаривали не возвращаться в Россию — это было уже после октябрьского переворота, — но она вернулась. Сразу же начали таскать в ГПУ, не посадили, а какой-то следователь даже посоветовал: сидите дома и никогда не поступайте на службу. Купила машинку и всю жизнь проработала машинисткой. Печатала медленно (в отличие от мамы), но без единой опечатки, многие писатели, патриархи советской литературы ценили ее не столько за это — просто льстило, что им печатает не кто-нибудь, а дочь великого князя.

Во время гонений на антропософов (дружила с Волошиным, Белым) тоже уцелела, но всегда сплошной, как говорила про нее мама, комок нервов.

В середине двадцатых мама познакомилась с М.А. Волошиным. Е.А.Андреева-Бальмонт (первая жена Константина Бальмонта недавно вышли ее интересные и яркие воспоминания), давно и хорошо знавшая маму, пригласила ее к себе познакомиться и прочесть Волошину и его жене последние вещи Цветаевой — «Поэму конца» и «Крысолова», которые тогда впервые проникли в Москву.

«Во второй половине 20-х годов в литературных кругах Москвы широкую известность получила поэма Марины Цветаевой «Крысолов». Особым успехом пользовалась глава «Детский рай». Ее неоднократно читала у Веры Нлавдиевны (Звягинцевой. — А. Б.-II.) и Александра Сергеевича их добрая знакомая Марина Баранович. Я не знаю кем она была, знаю только что не поэтом, не актрисой, не профессиональной чтицей. Но у нее был голос редкой красоты, широчайшего диапазона, и «Детский рай» она читала необычайно выразительно, тонко передавая мельчайшие оттенки все время меняющихся интонаций и ритма. Этим чтениям отводились специальные вечера, на которые Вера Клавдиевна приглашала друзей и близких знакомых. Так и говорилось: "Приходите на Марину Баранович"» //Новикова Е. Прожитые годы.

В.К.Звягинцева посвятила маме стихотворение:

МАРИНЕ БАРАНОВИЧ

Наверное, виолончель
Твоим разливам втайне рада.
А ты обличьем юный Лель,
Ты песнями другим отрада,
Так как же ты себе не рада.

Твой голос темным серебром
Твоей тоске противоречит.
Закрой глаза.
Послушай гром,
Как музыка гремит далече,
Унынию противореча.
Напрасных роз, напрасных дней
Пленительно неистребима
Виолончель в груди твоей — пускай, пускай летучей дыма
Но прелестью неистребимой.
4/X 28 г.
В.Звягинцева.

М.А. сам читал в тот вечер свои стихи и рассказывал, как в те же дни читал их в Кремле народным комиссарам. После того, как он прочел «В Москве на Красной площади…возносят неподобные, нерусские слова…», кто-то. то ли Троцкий, то ли Луначарский его спросил: «Какие же такие не русские слова?»

— Ну, например, интернационал… — ответил он.

При расставании Максимилиан Александрович и Мария Степановна пригласили маму приехать к ним в Коктебель. Мама стала бывать там, и в дальнейшем Коктебель стал родным домом для всей нашей семьи. В волошинском доме то и дело устраивались чтения в мастерской и на верхней террасе (вышке); читали поэты, гостившие в доме, читал сам Волошин, он тогда закончил «Аввакума» и часто читал его. Мама тоже по просьбе М.А. читала там стихи. На одной из подаренных акварелей Волошин сделал надпись: «Марине, в голосе которой, широком, как коктебельские просторы, столь свободно живут стихи русских поэтов». Через маму Волошин передавал сведения о жертвах репрессий в Крыму М.С.Винаверу, работавшему в «Политическом красном кресте» и много сделавшему для облегчения участи арестованных.

Мне хочется привести здесь мамино письмо В.Куп- ченко в ответ на его просьбу рассказать все, что она помнит о Волошине.

Глубокоуважаемый Владимир Петрович!

Получила я Ваше письмо, как раз когда меня уложили после небольшого сердечного приступа. А лежа, я все, благодаря Вам и благодаря Вас, вспоминала золотые дни и недели, которые я провела в Коктебеле при жизни М.А. Сумею ли я Вам передать живой отблеск тех дней и образ самого М.А.?

Первым моим побуждением было написать Вам, что я давно стала убежденным противником всяческих воспоминаний, мемуаров и летописей. Помимо того, что надо быть таким поэтом, каким была Цветаева, чтобы передать свое живое

восприятие, живой образ (недаром она свои воспоминания назвала «Живое о Живом») — надо уметь отказаться от каких бы то ни было собственных суждений, комментариев, — т. е. именно передавать живую картину, встающую в памяти, живые слова. (…)

Если после человека остаются стихи, картины, музыка, воспоминания о сыгранных ролях, — ну и слава Богу. — вот только по этому и вспоминайте и судите их.

Но вот Ваше письмо увидела моя внучка — Марина Поливанова, которая познакомилась с Вами нынешним летом в Коктебеле, и рассказала мне о Вас и о Вашем отношении к М.А. и М.С., и мне захотелось попробовать сделать несколько мгновенных зарисовок встающих в памяти слов и встреч.

В первый раз я увидела М.А. и М.С. у Ек. Алексеевны Бальмонт, у которой часто бывала, так же как и Г.С.Киреевская [2].

В те дни в Москву впервые проникли две поэмы М.Цветаевой «Поэмы конца» и «Крысолов». Я их достала и читала своим друзьям и знакомым. Стихи я обожала. В те годы можно было часто встретить на улицах и бульварах Москвы мальчиков и девочек, громко читающих стихи. Студий тогда развелось видимо-невидимо. Побывала и я — сначала в студии Чехова, а потом в Вахтанговской, но, слава Богу, скоро отказалась от притязаний на карьеру актрисы; чтение же стихов надолго осталось моим призванием.

Вот Ек. А.Бальмонт и пригласила меня познакомиться с М.А. и М.С. и почитать им новые вещи Цветаевой. Цветаева описывает, как она в последний раз была в Коктебеле и в последний раз видела Макса. Встреча с ее стихами в моем чтении была после этого первой встречей М.А. с Мариной. Было это году в 25-м. Точных дат я теперь не помню. (…)

Что о нем сказать тогдашнем: он был странно ни на кого не похож: в длинном сюртуке вроде армяка, в сапогах, с длинными волосами. Все. что он говорил, было всегда неожиданно ново, всегда глубоко его собственное. Стихи его поражали тогда, как и сейчас, но тогда они были живым, непосредственным отражением тех потрясающих дней.

Впоследствии, уже после его смерти, я искала в букинистических магазинах журналы и издания начала века с его статьями. Есть у меня выпуски «Аполлона» с его статьями о Сарьяне, о Богаевском. есть сборничек переводов Верхарна с его предисловием. И тогда, уже в 30-е годы меня поразило, насколько живым, существенным, верным оказывалось все, что говорил и писал М.А. по сравнению с современными ему литературо- и искусствоведами.

Цри расставании М.С. и М.А. пригласили меня приехать к

ним в Коктебель.

И вот в одну из весен конца 20-х годов я собралась к ним в отпуск.

Наверное у М.С. сохранилась, помнится, — как будто даже висит в столовой фотография, очень искусно сделанная кем-то из друзей. Он делал снимок за снимком с вышки, постепенно поворачиваясь от моря с профилем Макса к Тепсеню с торчавшим еще тогда в глубине лакколитом. — огромной скалой, впоследствии взорванной, потом к Седлу-горе, к Узун-Сырту. в сторону Янышар и Тапрак-каи и снова к морю. Склеенные снимки передают весь вид тогдашней Коктебельской долины, всю ее пустынность.

Прямо с автобуса меня повели в мастерскую — отряхнуть пыль от ног — таков был обычай, в точности описанный в «Доме Поэта». В дверях меня встретила Г.С.Киреевская и своим низким голосом прочитала: «Со дна веков тебя приветит строго огромный лик царицы Тайиах». А посреди мастерской стоял с протянутой рукой Макс.

Некоторые описывают Макса в каких-то туниках и веночках и прочей какой-то претенциозной мишуре. Ничего подобного не было. М.А. был естественным порождением и выражением всего окружающего его пейзажа. И каждая подробность его одежды была естественной необходимостью. Волосы были действительно чем-то перевязаны — то ли стебельками полыни, то ли какой-то шерстинкой, терявшихся в его уже тогда полуседых, полуржавых — как и вся коктебельская земля, — волосах. А как же было не подвязывать волос на коктебельских ветрах. Парусиновые штаны, перехваченные ниже колен, длинная парусиновая русская рубаха с пояском, — вот и все. На ногах сандалии. Был он очень большой и тучный, но вместе с тем необычайно легкий. Ходил как-то удивительно легко и пластично. И где бы я его ни встречала, — около ли дома, на пляже ли, на лесенке ли мастерской, — он всегда казался летящим на тебя сияющим солнечным шаром. Встретить его всегда было счастьем. Есть его портрет в профиль — очень грустный и задумчивый. Таким он наверное бывал, оставаясь один, погружаясь в свои «молитвы и медитации». Обращаясь же к людям, он всегда сиял улыбками.

Первым делом М.А. и М.С. и жившие тогда в доме друзья посвятили меня в основные правила общежития. И с той минуты я становилась хозяйкой Коктебеля. дома, Макса — всего. Вот эту свободу и господство Макс умел как-то легко и безусловно даровать каждому. Каждый был хозяин. Потом, после смерти М.А., когда я приезжала в Коктебель, и его дома были заняты чужими, совсем чужими людьми, я всегда чувствовала себя

обкраденной, даже несмотря на присутствие М.С.

Самым трудным было говорить М.А. «ты». Но иначе Он отказывался разговаривать, и сам всем говорил «ты». Дня три я молчала, потом к великой радости Макса решилась и заговорила.

М.А. обладал удивительной способностью никогда ни о чем не спрашивать и все о нем понимать. Первый год я жила в «Нижнем Гинекее» — большой комнате на втором этаже в «доме Юнге» — том. что стоит в глубине позади основного дома, купленного Еленой Оттобальдовной у Юнге. В последующие годы М.А. понял, что я очень стремлюсь к уединению и всегда говорил мне: «Хочешь жить в отдельной комнате, приезжай пораньше», т. е. в июне. Так я и делала и поэтому никогда не бывала в разгар съезда гостей, обычно приурочивавшегося к дню Максовых именин.

Но и в июне гостей было столько, что они не умещались зараз в нижней столовой — длинной террасе. примерно под столовой М.С. Тогда на этой террасе стоял длинный стол. Все обедающие разделялись на две очереди. В первой были более старые и почтенные друзья М.А., во второй — молодежь. М.А. и М.С. обедали с первой очередью, а потом продолжали сидеть за столом и со второй очередью. Вы. наверное, знаете, что на лето к М.А. и М.С. приезжали из Феодосии три очень милые женщины, которые устраивали пансион, — зарабатывали они на этом ровно столько, чтобы перебиться с осени до следующей весны в Феодосии, кормили очень вкусно и очень дешево и были такими же гостями и друзьями дома, как мы все.

Мы — молодежь, всеми порами впитывавшие разговоры старших, часто в ожидании собственной очереди пристраивались где-нибудь на ступенечках или просто на земле вокруг террасы и слушали. А интереснейшие разговоры возникали всюду и ежеминутно, стоило только где-нибудь собраться нескольким человекам — за столом ли, на пляже ли или в очереди у «гробов» — так назывались две досчатые уборные.

Ко времени обеда откуда-то часто — по-видимому из Феодосии — появлялась мороженщица. М.А. был страшным сластеной, а сладкое при его тучности М.С.

позволяла ему есть лишь в ограниченных дозах. Нам же всем доставляло огромное удовольствие угощать М.А. И вот возникал бой. Мы отвоевывали у М.С. для М.А. право на сколько-то порций мороженого и распределяли между собой, кому угощать его.

По вечерам М.А. любил устраивать в мастерской, а то и на вышке, — чтения, чаще всего стихов. Поэтов было много. Много читал и сам М.А. (…) На первых же порах он спросил, привезла ли я поэмы М.И.Ц. Узнав, что их у меня с собой нет, уговорил

меня срочно написать в Москву и просить их мне прислать. Пришлось мне ему повиноваться, а потом не помня себя от страха и стеснения, читать перед судьями, более строгими, чем на каких бы то ни было студийных экзаменах.

У М.А. была способность раскапывать в человеке самые лучшие и привлекательные его стороны и влюбляться в них. Он всегда казался мне влюбленным в каждого, с кем он встречался, — и только в этом смысле я понимаю слова «ибо только влюбленный имеет право на звание человека». Меня он по-моему любил за мое имя, за любовь к моей тезке. Однажды он получил письмо от дальней наследницы имени Дельвига — Леночки Дельвиг. Она сообщала ему о своем существовании и о желании приехать. Боже, как Макс радовался, что есть еще в России существо с этим именем, как он всем и каждому об этом сообщал: «А знаете, к нам скоро приедет Леночка Дельвиг, подумайте только — Дельвиг!»

Я была в те годы мелкой служащей, и мне полагался коротенький двухнедельный отпуск, который иной раз удавалось удлинить благодаря каким-нибудь сверхурочным работам. А ведь надо было облазить все горы, обойти все любимые места, побывать в татарских деревушках. Времени было в обрез, и поэтому, иной раз, когда М.А. назначал чье-нибудь чтение, хотя бы и свое, — я бежала к нему, утыкалась головой в его живот и со стыдом признавалась, что мне больше хочется слазить на Карадаг или сбегать в Янышары. «Ну что ж. иди, конечно!» — тут же соглашался Макс.

И тогда, просияв и осмелев, я поднимала к нему лицо и говорила: «А ты, Макс, приходи ко мне на террасу с Марусей попозже вечером и прочитай мне все, что я больше всего люблю». И так он и делал. Вечером на большой террасе под звездами или луной (фонарей тогда не водилось) сидели на скамеечке М.С. с М.А., окруженные несколькими обитательницами какого-ни- будь Гинекея — их было два: верхний и нижней. — и М.А. читал, а М.С. пела. У М.С. был изумительный дар находить музыкальную мелодию какого-нибудь стиха. Голос у нее был небольшой и пела-то она не голосом, а вроде как душой. Самой моей любимой песенкой было Максово стихотворение: «Небо в тонких узорах…» Попросите М.С. как-нибудь Вам напеть его. Она будет говорить, что стара, что у нее нет голоса и всякие такие слова. А Вы все-таки упросите.

Один раз М.А. мне сказал: «Марина, зачем ты красишь губы? Помнишь слова поэта «И если б знал ты, как сейчас мне любы твои сухие розовые губы…» (Ахматова). Вот губы всегда должны быть сухими и розовыми, в особенности на коктебельском ветре.

А у тебя они 'покрыты жирной яркой краской». Я не слушалась Макса.

Что говорить, — было и в те времена много сибаритов и снобов, устраивавших «красивую жизнь», — вечеринки с танцами и выпивкой, а сколько романов! Но эта красивая жизнь обычно устраивалась вне стен Максова дома. Хотя одно лето много танцевали и у Макса — жил тогда у Макса композитор и музыкант Юра Тюлин с женой, он часто играл на рояле один фокстрот, который почему-то назывался Нининым по имени общей подруги. Помню Сашу Габричевского, который изумительно танцевал вальс-бостон. И никого из них уже нет в живых! (…)

В те времена был обычай всякого уезжавшего всем домом провожать до автобуса с песней «В гавани, в далекой гавани…» Вы ее наверное знаете. В проводах, конечно, участвовали и М.С. с М.А. Помню какой-то один свой отъезд, когда я очень грустная зашла к М.С. и М.А. проститься. М.С. поинтересовалась, есть ли у меня что с собой поесть, и узнав, что я ничем не запаслась, тут же упаковала мне в дорогу хлеба с маслом и помидоры. И эта ее материнская забота грела меня всю грустную дорогу в нелюбимую Москву.

Я не помню, чтобы М.А. в те годы ходил в прогулки. Но дважды он позвал меня с собой погулять, и мы обошли с ним всю гряду холмов, что разделяют долину коктебельскую от барыкольской. Эту прогулку М.А. очень любил, хотя ее мало кто знает. Пройдя деревню и дойдя по шоссе до довольно крутого его поворота на Отузы, но еще не доходя до Лягушки, надо свернуть в сторону Голубых гор. Тут вскорости кончается гряда холмов, идущая от самого Седла. Часть тропок убегает к Голубым горам, а часть — огибая последний холм, возвращается к Коктебелю через «каньоны». Это были довольно глубокие овраги и распадки, покрытые вешними водами, образовывавшими ручей, протягивавшийся к морю и впадавший в него у самой могилы Юнге. К лету эти «каньоны» почти совсем просыхали, обнажая необычайно живописные пласты разноцветных глин и зарастая осокой и цветами. Овражки эти М.А. назвал каньонами, п. ч. они и по происхождению и по виду были как бы миниатюрной моделью американских Гран-Каньонов.

М.А. умел и любил вообще давать имена и прозвища. Долина, о которой я только что рассказывала, была им названа Библейской. Она такой и была — от нее веяло такой древностью, тишиной и одиночеством, и недаром где-то за ней, среди Голубых гор были затеряны остатки какой-то римской дороги.

Помню имена двух собак — Хна и Юлахлы, — они звучат для

меня музыкой. Вслед за Максом и друзья его сочиняли прозвища и носили их — была Валькирия — статная, красивая блондинка, был Психур — ныне крупный ученый, а тогда молодой человек, соединявший в себе, по-видимому, черты Психеи и Амура. Какие-то шарады, сценки, игры возникали спонтанно и оставляли после себя всяческие песенки, анекдоты, прозвища.

М.А. органически не выносил никаких стандартов и прописей. В гостях у М.А. часто жила подруга моя и

Г.С. Она ходила в трусиках и длинной рубашке с матросским воротником, стриглась очень коротко, но- мальчишески. М.А. ее очень любил. Вот сидели они как-то на скамеечке. Подходит к ним какой-то заезжий пролеткультовец, — откуда он был, не знаю, Макса он не знал. И вот он начинает уговаривать М.А. купить или просто так взять у него билеты на какое-то мероприятие.

Упрашивает он Макса и так и сяк и, наконец, говорит: «И Вам и Вашему сыну (это моей подруге) будет очень полезно…» И Макс в ответ: «А я и мой сын любим все только бесполезное…»

Часто Макс говорил: «Твое — это только то, что тебе дают, а то, что ты зарабатываешь, — ты крадешь у других».

Так Макс любил ошарашивать всякого, подходящего не с живыми глазами и не с живым словом. Нужно было видеть его гнев, когда вдруг кто-нибудь появлялся перед ним из Феодосии и спрашивал, не сдаст ли он комнату и почем. Боже мой. Макс мог убить человека. Мы уговаривали: «Макс, ну кто же может знать, кто ты. и как живешь и на каких основаниях живут у тебя твои друзья!» Все равно. Все равно — самый подход был стандартным, его самого не воспринимали и не искали, нужна была только комната с видом на море или на горы и т. д., как поется в одной веселой песенке, изображающей приезд к М.С. и М.А. стандартной курортной дамочки («Ах, мадам Волошина, зрассьте…» — поищите в архивах М.С.).

Как и все люди и, в особенности, как все большие люди, М.А. умер вовремя. Я не вижу его в современном Коктебеле. Не вижу его и в современной жизни. И хоть я сама неоднократно бывала после его смерти в Коктебеле, но теперь меня все больше и больше тянет в «тот» Максов Коктебель и «тот» Коктебель я вижу.

Макс жив. И чем дольше я живу сама, тем громче для меня звучит его голос из всего, что он оставил.

Марина Цветаева в конце своего очерка очень верно, хоть и очень сдержанно и без комментариев, резюмирует его духовный облик, соединявший в себе, помимо основной русской, черты и французской и германской культур. Но об этом пусть уж Вам расскажет сам Макс.

(…)

Очень бы я хотела, чтобы на Вас от моих немногих строк дохнуло ветром тех лет и того Коктебеля.

Глубоко уважающая Вас М.Баранович.

Когда начались гонения на антропософов, маму не тронули, но по другим поводам вызывали на допросы многократно. Правда еще раньше, в 18-м году, мама оказалась в тюрьме, — оказалась, как сама рассказывала, довольно забавно. Забрали молодого человека, а с ним, как и положено, его записную книжку, а в книжке донжуанский список всех барышень, с которыми хоть однажды встретился и протанцевал с указанием адресов и номеров телефонов). Лагерную «канали зацию» еще не наладили, так что приходилось либо отпускать, либо расстреливать, — шестнадцатилетнюю девчонку отпустили. В «Архипелаге» Солженицына с маминых слов рассказывается об условиях содержания заключенных в Бутырках в 18-м году.

Вскоре произошел еще такой случай: приходит повестка: М.К.Баранович явиться туда-то в таком-то часу. Мама сразу поняла, что имеют в виду ее, но инициалы одинаковые, — брат решил пойти первым, вдруг Марину оставят в покое; битый час морочил им голову, наконец спрашивают: а кто еще в вашей семье с такими же инициалами. Следователь маме с места в карьер: нам известно из показаний вашего знакомого, что в его присутствии вы говорили то-то и то-то. Мама: а в каком роде, разговаривая с вами этот знакомый склонял мою фамилию? — тоже отпустили (а «могли бы и полоснуть»).

Ну а дальше ничего забавного уже не было. В середине 30-х арестовали ее близкого друга, люксем- буржца Ш., с которым она несколько лет проработала в качестве переводчицы в «Спецстали». Он был приглашен в СССР в числе других технических специалистов, разделивших впоследствии его судьбу. Отпустили его

М.К.Баранович. 1920-е гг.

только после того, как Люксембург заявил, что порвет с нами дипломатические отношения. По возвращении на родину он, еще вполне молодой, умер от разрыва сердца, так тогда назывался инфаркт, — пытки сделали свое дело. А пока его не выпустили, маму чуть ли не ежедневно таскали на допросы, она была уверена, что и ее посадят, и сходила с ума, представляя себе, что тогда ожидает меня. (Тогда же сожгла полного Соловьева).

Вызывали маму и в 49-м в связи с арестом О.В. Ивинской, — уходя на Лубянку, она просила кого-нибудь из моих друзей побыть у нас дома, чтобы мне не одной дожидаться ее возвращения (или невозвращения). Я не для красного словца написала «или невозвращения». О знакомстве с Б.Л., о чтении Пастернаком Романа у нас дома, о многочисленных маминых перепечатках Романа и стихов из него было широко известно, а ведь уже в 47-м году одним из редакторов «Нового мира» было произнесено: «подпольные чтения контрреволюционного романа».

В последний раз маме пришлось иметь дело с КГБ в 65-м году. Летом был произведен обыск и изъят архив Солженицына у его друзей Т., с которыми мама тоже была знакома. В день нашего возвращения из Эстонии, только мы ввалились домой, и муж убежал на работу, а я в магазин, как два молодчика пожаловали к нам. Когда я вернулась (мама еще в дверях успела шепнуть мне, какие гости сидят на кухне), они спросили меня, дома ли кто-нибудь из маминых соседей или родственников или нужно звать

понятых, — они должны были ехать с мамой к ней домой для изъятия машинки. Звоню двоюродной сестре и объясняю, в чем дело. Те стоят у самого аппарата, а меня разбирает смех (до этого все протекало почти идиллически, в мое отсутствие мама сгоняла одного из них за курицей — надо же накормить детей, еще о чем-то болтали пока я не вернулась, потом мерили дочке школьную форму). Сестра спрашивает: может что-нибудь спрятать? — тут мне стало не до смеха и за это «что-нибудь» захотелось пристукнуть ее на другом конце провода. Мама с ними уехала, а я начала соображать, куда бы спрятать <<В круге первом», отданном нам летом А.И. на хранение (до этого успела от соседей вызвать мужа с работы), ну и стала смотреть нет ли чего-нибудь еще. Обнаружила две поэмы Солженицына, да не в одном, а в пятнадцати экземплярах (то, что было в одном, я уничтожать не собиралась). Пока муж не приехал, рвала эти экземпляры на мелкие кусочки и спускала, рвала и спускала, мечтая только, чтобы не засорилась уборная.

На Лубянке маму продержали до поздней ночи, я места себе не находила от волнения — у нее была уже тяжелая гипертония. Давление, конечно, подскочило, и для дальнейших допросов следователь приезжал к нам домой. Терзали долго, а мне «советовали» повлиять на маму, чтобы не отпиралась, иначе и нам с мужем не поздоровится. В конце концов маму оставили в покое, а машинку вернули только через полгода — единственное, что их интересовало, хотя вслух это не произносилось, не печатала ли мама «Архипелаг». А как-то даже позвонили из органов и спросили, в какой больнице и в каком году ей удаляли гортань. Мы тогда просто голову ломали: к чему такая «любознательность», только прочитав через год «Раковый корпус» поняли, — наверное, хотели выяснить, не оттуда ли знакомство.

Познакомилась мама с Солженицыным в сущности совершенно случайно (хотя, как известно, ничего случайного…). В 65-м году Д.М.Панин без ведома А.И. дал ей на сутки «В круге первом». Это стало известно Солженицыну, и он попросил Л.З.Копелева договориться с мамой, можно ли ему к ней зайти. По дороге в театр (в Москве тогда гастролировал Ла Скала) он вместе с Натальей Алексеевной Решетовской забежал к маме, — я в это время была у нее. Александр Исаевич беспокоился, не давал ли Панин рукопись кому-нибудь еще, ну, и маму, разумеется, хотел проверить, от Копелева он давно был о ней наслышан, но о ком из своих друзей Лев Зиновьевич не отзывался восторженно? С пристрастием А.И. допрашивал маму, в какой именно день и в котором часу она получила рукопись, и в какой день и в котором часу вернула ее Панину. Мама в свою очередь встревожилась, не

испортит ли самоуправство Д.М. его дружбу с А.И. «Мы с Митей на всю жизнь вот так», — и он положил крест-накрест большие пальцы, крепко стиснув кисти рук.

Ох уж эти скрещенья рук, пальцев, ног, судеб!.. — вдребезги рассорились друзья, мушкетеры, как сами в шутку называли фотографию, где в 59-м году сняты вместе Д.М.Панин, А.И.Солженицын, Л.З.Копелев — J О лет спустя после шарашки.

Уходя, А.П. выразил желание придти уже не для допроса, а просто пообщаться и познакомиться с моим мужем, о котором опять же был наслышан от Копелева, да и мама успела сказать, что ему будет интересно встретиться с ее зятем. На следующий день Копелев расспросил маму о ее впечатлении от встречи с А.И., что было излишне, — Солженицын уже успел ему сообщить: «Кажется, я вытеснил из ее сердца Пастернака». «А как тебе Настя?» — спросил Лев Зиновьевич. «Мне понравилась ее сдержанность». (В душе я целиком разделяла мамины восторги, но. в отличие от нее, всегда старалась внешне своих чувств не проявлять).

Через неделю, как и условились. А.И. с Натальей Алексеевной опять пришли и просидели целый вечер, правда, еще с порога, входя и не видя Мишу (тот сидел в соседней комнате у моей тети), А.П., насторожившись, спросил: «А что Михаила Константиновича нет?» про себя-то наверняка подумал: «Ну. конечно, посулили две дамочки умного мужа-зятя, лишь бы заманить в гости».

Пили с нехитрым угощением чай. а говорили и спорили все о тех же проклятых вопросах — истории и судьбах России, реформах, революции, ее причинах… А.И. поражался — Миша, физик, столько знает и всем этим интересуется. Пожаловался, что его тревожат некоторые тайники, а куда перепрятывать, неизвестно. Тут-то я, неожиданно для самой себя, и предложила, что можно к нам. От мамы уходили вместе, был еще не темный весенний вечер. Когда прощались в метро, скрестились в рукопожатии четыре руки, рассмеялись, естественно, и громче всех, ничего не предвидевшая Н.А., еще но дороге, нюхая цветы, подаренные ей мамой, она несколько раз повторила: «Я самая счастливая женщина в мире».

Примерно через месяц А.И. позвонил по телефону, и не помню уж на каком эзоповом языке, спросил, можно ли принести «В круге первом». Я предложила, что заеду сама — он жил у родственников жены в районе Сокола — Аэропорта. Младшая сестра мужа, сидевшая рядом, спросила: «С кем это ты сейчас говорила?» На что моя свекровь, женщина еще более сдержанная, чем я, презрительно фыркнула: «Ты что, по Настиному голосу не

поняла, с кем она разговаривала?» Я приехала к А.И., чтобы забрать папку, но в последний момент он передумал.

— Знаете, лучше я вас все-таки провожу до дома, а то недавно одна девушка везла мою рукопись и в метро потеряла сознание.

Я хотела возразить, что со мной подобных вещей вроде бы не случается, а потом даже обрадовалась, — значит по дороге еще поговорим. Когда он уже открывал входную дверь, чей-то женский голос из соседней комнаты прокричал: «Саня, не забудь на обратном пути купить масла». Я просто остолбенела, тут же представив: выходит из дома Шопен или Толстой, а ему вдогонку кричат: купи масла.

Он только что вернулся из поездки по Брянским местам (готовил материал для «Августа 14-го»), но рассказывал больше о красотах природы, да еще весной, когда все в черемухе: «У нас в машине всю дорогу благоухало». В метро — грохот и лязг колес защищал от любопытных ушей — заговорил о воспоминаниях Н.Я.Мандельштам и о встрече с ней: «Пишет интереснее. чем говорит, верно?». Ругал «Десять дней, которые потрясли мир» на Таганке, куда его зазвали, ожидая, очевидно, восторгов, «не мог же я им сказать, что все было не так» (еще бы, когда уже подбирались к его архивам!). Когда дожидались автобуса у Курского, упомянул о посещении Ахматовой. «Кто ваш любимый поэт двадцатого века?» — спросила я. «Выше всех для меня Блок». «А Пастернак на каком месте? — не удержалась я. «Каждый поэт — свой особый, большой мир», — ответил он уклончиво.

Автобус долго не подходил, я стала уговаривать его не терять зря времени, — уж две-то остановки я как-нибудь благополучно (без обмороков) доберусь. Мы простились, я посмотрела ему вслед: он медленно шел к подземному переходу, задумчивый, понурив голову в своей теперь уже многим известной по рассказам и фильмам штормовке защитного цвета с черным учительским портфелем.

В 96-м году Солженицын передал мне через знакомых (мужа уже не было в живых) «Бодался теленок с дубом»: «Анастасии Поливановой в память бесценной помощи Вашей и Михаила Константиновича в те тяжкие годы». В книге среди прочих «невидимок» (тайных помощников) есть фотография мужа и несколько теплых слов о нем, с некоторыми неточностями, — гебист- ских подозрений Миша не избежал и его дважды вызывали на Лубянку.

С Пастернаком, как уже говорилось, мама встретилась в издательстве «Узел» в начале двадцатых, но настоящее знакомство состоялось значительно позже. Перед войной мама

написала ему письмо, он откликнулся телефонным звонком, по возвращении же из эвакуации стал бывать у нас, а еще чаще звонил по телефону и часами разговаривал с мамой (дед ворчливо шутил: Марина, тебя Пастернак, опять телефон будет занят два часа). Так завязалась многолетняя дружба. Отношения стали особенно интенсивными, когда мама взялась перепечатывать для него Роман (долгие годы так назывался и самим автором и всеми «Доктор Живаго»), а также бесчисленное количество экземпляров стихов из него по мере их появления. Стихи мама сама сброшюровывала и переплетала, — эти светло-зеленые и голубые тетрадки расходились по всей Москве и за ее пределами. В своих воспоминаниях о Пастернаке А.Вознесенский называет маму «прокуренным ангелом его (Пастернака) рукописей». В каком-то смысле мама оказалась одной из родоначальниц самиздата, хотя такого термина тогда еще не существовало, чуть позднее она перепечатывала для себя и друзей всего Волошина, Цветаеву, а еще раньше ахматовскую «Поэму без героя»…

В дальнейшем, когда мама взялась за переводы Сент-Экзюпери, поначалу не думая о возможности публикации, просто хотела, как всегда, поделиться всем тем, что ей дорого, с семьей, с друзьями (и все же впервые «Военный летчик», к сожалению, с купюрами, вышел в журнале «Москва» в ее переводе, а в первый однотомник в ее переводе вошли «Южный почтовый» и письма), то полный перевод «Военного летчика», любимой ею «Цитадели», «Письма к заложнику», «Генералу Х», перепечатанные и переплетенные для многочисленных друзей, тоже ходили по Москве, а потом перекочевали в другие города. В Ульяновске, в клубе почитателей Сент-Экзюпери, есть стенд с маминой фотографией и кратким биографическим очерком.

В 1946-м у нас состоялось одно из первых чтений первых глав Романа. Чуть позднее Пастернак писал маме: «… теперь на расстоянии я снова измерил и оценил: пусть проза второй и третьей тетради может быть даже и лучше первой, но наплыв чувств и мыслей, соединенных с ней, напр. период, когда я читал у Вас в присутствии Клавдии Николаевны, Петровых и Кочеткова были отдельным важным периодом моей жизни, ее отдельной эпохой, как дни вокруг «Сестры моей жизни» и время написания «Охранной грамоты». Это йотом не повторялось. Я рад, что это связано с Вами, с Вашей комнатой…»). Цо поводу той же комнаты,

 впервые отремонтированной с довоенных времен, он как-то пошутил: «Я подумал, что попал не к вам, а в дом напротив» (правительственный).

Шутил часто и по самым разным поводам, — увидев громадных размеров торт, притащенный на мои именины приятелем, смеясь, разводил руками: «У нас, конечно, тоже бывают именины, приносят подарки, но это же не торт, это Красная площадь». И еще шутка, но с горечью: огорченный, что ему самому не дали написать предисловие к переводу «Фауста», говорил: «Они думают, что я лирик, вроде чижика».

Среди слушавших тогда «Живаго» были Кл. Ник. Бугаева, жена Андрея Белого, друг мамы — Дарья Николаевна Часовитина, Александр Сергеевич Кочетков с женой Инной Григорьевной и М.Петровых. Список приглашенных составляли вместе. Перед тем. как начать читать, Б.Л. вдруг спохватился и спросил, сколько мне лет, когда я сказала, — четырнадцать, он успокоился и начал читать.

Пришло бы сейчас кому-нибудь в голову, прежде чем читать начальные главы «Живаго», поинтересоваться, сколько лет слушательнице — подростку, сейчас, когда в уши и души 13- и 15-летних виршеплеты бросают с эстрады рассортированный по карточкам мат? Ушло безвозвратно «поколенье с сиренью» («… мой привет поколенью по колено в земле». — М.Цветаева).

Передать его манеру чтения невозможно, и все-таки: читал, увлекаясь сам, тянул гласные и заливисто смеялся (запись на пластинке отрывка из «Генриха IV» в какой-то степени передает его голос и манеру читать прозу, именно прозу, а три или четыре к сожалению не очень удачно записанных стихотворения или какие- либо подражания не дают об этом ни малейшего представления). Уходя, Б.Л. подарил маме книжку «Грузинские поэты» с несколькими новыми вклеенными стихами: «Импровизация на рояле», «Гамлет», «Бабье лето», «Зимняя ночь» «… на память о Рождественском гостеприимстве». А мне — свой перевод «Гамлета»: «Милой Насте Баранович к Новому году с пожеланиями всяких радостных неожиданностей и законных удач». В дальнейшем беловая рукопись всей первой части тоже была подарена маме.

В 49-м году Пастернак снова читал у нас — уже начало второй книги. На этом чтении присутствовали Поливановы со своей подругой Еленой Дмитриевной Скворцовой. Борис Леонидович тут же ее заприметил и шепотом спросил у мамы, кто эта дама; в дальнейшем, когда мы жили на даче у Елены Дмитриевны, в письмах к маме он неизменно просил передавать ей приветы. «О ссадины вкруг женских шей, от вешающихся фетишей. О как я знаю, как постиг, я, вешающийся на них».

Пленила его и актриса Целиковская (типом лица она походила на О.В.Ивинскую) в «Ромео и Джульетте», поставленной

в Вахтанговском театре в его переводе, но побывав у нее в гостях, разочарованно рассказывал: «У нее комната без биографии».

В начале 47-го он познакомил маму с О.В.Ивин- ской, впервые мы увидели ее вместе с Б.Л. на Ордынке, столкнувшись с ними у дома Ардовых, куда он пригласил нас, когда читал там «Живаго» для Ахматовой.

Анна Андреевна, поседевшая, но все еще с челкой, весь вечер, почти не меняя позы, просидела в кресле у окна; снисходительно, как должное и само собой разумеющееся, она приняла от мамы букет пионов.

Вскоре после этого Ольга Всеволодовна появилась у нас дома в синем платье в горошек, пахнущая «Белой сиренью», всех тогда сводившей с ума. и надолго запах этих духов связался у меня с ее женственным обворожительным обликом. В один из ее первых приходов, мы вдруг заговорили о Гумилеве и начали, перебивая друг друга, читать его по памяти, поэзию она знала и любила. И сколько же с тех пор льют грязи и неправды на нее, которую сам поэт назвал «своей правой рукой» («… Я б хотел с петлей у горла, в час, когда так смерть близка, чтобы слезы мне утерла правая моя рука») и

которой писал: «… Ближайшие и, наверное, единственные друзья сделанного это О.В. и Вы. И она совсем не как «вдохновительница» или «натура» для героини (в истории литературы эти пошлости всегда далеки от правды), но как единственный собеседник по предметам работы в ее начале, а Вы, как такая же собеседница в конце». Маму он, конечно же. здесь приплел из краснобайства, как сам себя когда-то назвал в стихах: «…не боюсь показаться тебе краснобаем», хотя действительно говорили много, но об О.В. — в третьем лице

это веское свидетельство. В самые страшные и трудные для него минуты жизни она была опорой и поддержкой, из тех, что «могут лечь на ура королевой без свиты под удар топора» — дважды проехался по ней из-за него лагерный топор. Впрочем, он сам предсказал: «… но кто мы и откуда, когда от всех тех лет остались пересуды, а нас на свете нет».

Что до собеседницы, как он назвал в письме маму.

она никогда не была единственной (правда, единомышленников у него в те годы было в сущности мало); он сам об этом не раз говорил и писал опять же в письмах к маме [3]: «…Нельзя ли было бы из двух Ваших экземпляров дать один на быстрое срочное прочтение интересующимся и достойным… такой случай, достойный внимания, известен мне только "один. Это — Журавлевская группа, т. е. он, Аля (А.С.Эфрон. — А.Б.-П.), с которой Вы познакомились и страшно полюбились ей, ее тетя

(Е.Я.Эфрон. —А.Б.-П.) и все, кого они придумают. Это люди очень близкого нам с Вами духа. Других я не знаю» (из письма к М.К.Баранович августа 1955-го года). II еще: «…Пересматривая вещь, я иногда радуюсь, что все же написал и довел ее до конца, для себя, Вас и еще нескольких, очень немногих, простых, скромных, образованных и одаренных. И это какая-то одна семья, не правда ли?»

С мамой же действительно говорили без конца, подолгу, на протяжении многих лет и не только о Романе. — обо всем на свете, обо всем, что его в тот момент интересовало, волновало, мучило (для него это были не просто разговоры, — мысли, которые потом ложились в прозу, стихи, статьи, письма) — об истории. христианстве, впечатлениях от концертов, и спектаклей. Передать, воспроизвести их не удавалось никому, — это все равно что пытаться пересказывать своими словами стихи, — только отдельные слова, фразы. Увидев в Большом театре «Ромео и Джульетту», возмущался помпезностью постановки — «…это как если бы купец захотел кататься летом на санках и построил для этого сахарную гору… словно начищенный сапог, на котором, как блоха, сидит Уланова» (хотя самой Улановой неизменно восхищался). Рассказывал о разговоре со Сталиным (и теперь и раньше существует и существовало много версий, свидетелей все равно нет. поэтому все они со слов самого Пастернака и многочисленных пересказов); в его рассказе маме фраза «мы, поэты, ревнивы, как женщины…» фигурировала.

Вот маленький эпизод совсем по другому поводу, возможно подтверждающий подобные чувства. У меня на книжной полке стояла маленькая фотография молодого Хэмингуэя. «Это Энгельгардт (мамин давний и очень близкий друг)?» — спросил он однажды, наклонившись над полкой. «Нет, Хэмингуэй», — сказала я. Он резко отпрянул, словно от удара, и ничего не произнес. Как-то заговорил о Маяковском, вернее о том, что он давно стал ему совершенно чужд (он тогда писал «Люди и положения» — там все сказано), и тогда же добавил, что когда-то любил строки «…я тебя одену в дым своих папирос». И еще несколько отрывочных фраз, сказанных в разное время по разным поводам.

* * *

В 57-м году его уговаривали написать или подписать что-то о событиях в Египте.

Я знаю. — сказал он, — вы хотите, чтобы я написал, что в Египте льется кровь, а в Венгрии вода. — и отказался.

* * *

Однажды утром Зинаида Николаевна, — рассказывал он, —

спросила его:

Ты что, плохо себя чувствуешь?

Да, — сказал он, — плохо.

Но физически или душевно?

Я не рожден, чтобы чувствовать себя физически.

* * *

Мою маленькую дочку сравнил с самоваром. И еще говорил, что она похожа на своего прадеда Г.Г.Шпета.

* * *

На мамин вопрос, что он думает обо мне:

Настя, как сложенная бумажка, пока не развернешь, не узнаешь, что в ней написано.

* * *

«Она мне будет говорить, чтобы я читал апостола Павла!» — рассмеялся он как-то, когда мама напомнила ему какое-то место из послания.

* * *

Его вызывали на Лубянку по поводу реабилитации Мейерхольда, и следователь сказал:

Вы ведь дружили с ними.

Ну что вы, они были слишком советские люди.

* * *

Любил повторять, что хотел бы иметь очень много денег, чтобы помогать одиноким женщинам.

* * *

На мой вопрос, почему он никогда не бывал в Коктебеле, ответил, что не любит театрализации жизни.

* * *

Радовался за маму, когда она побывала в Ленинграде: «… Страшно рад, что вы в Ленинграде, мысленно восхищаюсь и завидую…»

* * *

Летом 1950 года я должна была поехать со знакомыми в поход на Кавказ, и очень огорчалась, когда поездка сорвалась. Борис Леонидович знал об этом, и чтобы меня немножко утешить, надписал мне очередную тетрадку своих стихов. Правда, надписывая, долго капризничал: «Как вы можете писать таким пером?» [4]. Когда я подсунула ему чернильную авторучку, но без колпачка, заворчал, что такой короткой он тоже писать не может, и только когда колпачок был надет, сделал, наконец, надпись: «Дорогой Насте, вместо путеводителя по Кавказу с пожеланием счастливого лета…»

* * *

Но мог и окатить холодной водой. Перед школьными

экзаменами я всегда всем любила говорить, что провалюсь, желая услышать в ответ уверения в обратном. Так пристала я и к Борису Леонидовичу, когда он по телефону из вежливости спросил, как я поживаю. «Но ведь об этом надо было думать раньше», — ответил он

совершенно серьезно и даже строго.

* * *

Однажды мама попробовала записать некоторые встречи и разговоры с Б.Л.; узнав об этом, Пастернак писал: «Ничего не говорю о ваших записках и воспоминаниях. Мне стыдно, что я их знаю, что они дошли до меня. Ужасное свидетельство против меня, что я не догадываюсь, как воспрепятствовать их возникновению». После этого мама уничтожила свои записи, остались только наброски ее мыслей по поводу Романа, некоторых стихов из него — мысли, высказанные ею Пастернаку, во время их бесконечных разговоров при встречах и по телефону.

О стихотворении «Чудо».

Живет и буйствует природа,

Я соучастник ей во всем. (А.Блок.)

Природа с самого начала и до конца не только не равнодушный свидетель, и не только человек — соучастник ее пира. Все, что происходит с человеком и с Человеком, с его историей, — происходит на равных правах и с самой природой. Явление Христа, его крестные муки и воскресение — события не только человеческой истории, но и природы. В Пасхальные песнопения ангелов в «Фаусте», которые надо включать в собрание оригинальных стихов Пастернака, мы слышим (эту тему).

И только два исключения есть из этого соучастия природы: Смоковница и Гефсиманский сад — равнодушно был озарен. В Смоковнице природа отказалась ответить на протянутую руку Человека, как та «рябина в сахаре», — и была тотчас же испепелена. Причем знаменательно, что тут же и поясняется, что «будь на то время, успели б вмешаться законы природы…».

Стало быть, во всех прочих случаях, когда природа отвечала человеку, жила она уже не по законам природы, а по иным. Понятно равнодушие и в Гефсиман- ском саду. Человек добровольно отказывается от божественной природы, чтобы остаться только человеком, и словно вместе с ним и землю покидает одухотворявший ее дух, по законам которого она жила до той поры. И опять встает Масличный сад Рильке.

О «Евангельских стихах

Принято почему-то Живаговские стихи называть «Евангельскими стихами». В какой стадии своего возникновения

— а возникли они так: к декабрю 1946 года вместе с первыми главами романа, включая Елку у Свентицких (проверить у Насти) были написаны: «Гамлет», «На страстной», «Март», «Осень», «Свеча». Почти ровно через год появились — «Земля», «Объяснение» и «Рассвет». И наконец были написаны собственно евангельские стихи — «Рождественская звезда», «Чудо», две «Магдалины», «Дурные дни» и «Гефси- манекий сад».

Все стихи, занявшие впоследствии промежуточные места между этими первыми стихами, были написаны позднее.

В первой серии Живаговских стихов — начиная с «Гамлета» и кончая «Гефсиманским садом» — поражает их связь с настроением Страстной недели. Но только Страстной, то Благовестив, которое составляет смысл всего Евангелия, то есть сообщение о воскресении Христа и об искуплении греха человека, в стихах нет. Весь цикл проходит под знаком «Если только можно, авва Отче, чашу эту мимо пронеси». Горестная и суровая сцена предательства Иуды, достигшая почти Рильковского одиночества и трагичности Масличного сада, и Христа, отказавшегося от чудотворства, — завершается видением близящегося суда, когда перед распятым, «как баржи каравана, столетья поплывут из темноты». Ни искупления, ни прощения, ни воскресного благовеста. Ждешь его уже начиная с «На страстной» — что только-только распогодь. смерть можно будет побороть усильем воскресенья — но усилья этого нет.

Я думаю, и Борис Леонидович всегда соглашался со мной, доводя это положение, м. б. из вежливости до абсурда — что всякое произведение искусства включает в себя все те аспекты, в которых оно воспринимается теми, кому оно предназначено. А предназначено оно всем «немногим счастливым», увы — так остается и по сей день, которые с любовью и непредвзятостью подходят к нему. И непременно с любовью, п. ч. без любви нет истины, и нет и понимания. Мало этого, мне кажется, что каждое новое восприятие и понимание вещи словно наслаивается на нее, и с каждым протекшим годом вновь подходящий к ней человек воспринимает эту вещь уже в этих расширившихся и разросшихся размерах, сообщаемых каждым так или по-другому понявшим ее.

Когда роман еще не был дописан, я как-то спросила Бориса Леонидовича, заметил ли он, какие у него получились «лигатуры» — как бы связующие арки над некоторыми местами романа. Лара слушает заповеди блаженства за обедней, и почти с теми же словами воспринимает она несколько позднее выстрелы революционера на Пресне (и у Пастернака, как у Блока в «Двенадцати», каким-то образом за революцией сквозит Христос), когда она с матерью перебирается в Черногорию. И она говорит:

— А кто эти мальчики?

Да это же Гордон, Дудоров и Патуля, — те три ипостаси русской интеллигенции, на протяжении всего романа олицетворившие и пути ее, — это Ника Дудоров, пламенный революционер сам и сын матери-декабристки, это Миша Гордон, — мальчик-еврей, принявший, как догму учение Веденяпина, в отличие от свободного творческого ученичества Юры Живаго. Это Патуля, интеллигент из разночинцев, восставший против собственной интеллигентской мягкотелости и переломивший собственную натуру. Все они были связаны так или иначе с Юрой, все вместе с ним прошли сквозь все ужасы и кровь революции и войны, все предъявляли ему, молчаливо их выслушивавшему, свои требования и обвинения. А он молчаливо стоя только думал: может быть только в том… и т. д. И близорукие люди, воспринимающие одни слова, считают эти мысли слишком нескромными и надменными. Но ведь, по существу, разве не так же молчал перед интеллигентным и логичным Пилатом Христос, у которого требовали ответа на вопрос, что есть истина.

И эти же мальчики — кроме Паши, пошедшего самым радикальным путем, закончившимся самым трагическим образом, — и завершают роман, сидя с книжкой стихов Юры, перед раскрытым окном, над вечереющей и затихающей Москвой.

Первые слова о будущем романе Б.Л. были: «А знаете, я пишу роман в прозе и он, кажется, будет называться «Мальчики и девочки». С титула эти мальчики ушли, но они проходят сквозь весь роман, неуви- денные, непонятые, не додуманные всеми, неся вину и оправдание всей русской интеллигенции и ее темным путям, неотделимым от путей России».

Когда я с погоста смотрю на темную дачу — «на том берегу» — мне хочется всегда говорить вот эти строчки: «Где день в красе земной сгорел скоропостижно». Таким закатным сиянием озарены все последние стихи, с такой щедростью и лаской прощается природа с уходящим, что кажется, что уже никогда не повторится ни таких закатов, ни таких солнцеворотов с «некончающимися объятьями», ни снежных и лунных ночей с катящимся и не дающимся колобком, ни всей божественной литургии, которую этот человек в слезах от счастья достоял до конца.

Вся земля мела и говорила его голосом, немудрено, что «стало тише на планете», когда он ушел. И каждое событие человеческой жизни становилось и выражалось событием в природе. В стихотворении «Тишина» рассказывается о небывалом случае — зашла в лес лосиха и гложет подсед, и так все кругом поражено этим событием, что и ручей рассказывает о нем «почти

словами человека». Вот это «почти словами человека» хочется как-то повернуть и сказать, что Человек этот говорил «почти словами Бога», спустившегося с его участием с неба и воплотившегося в каждую земную (…). Того Бога, которому ничто не мелко, кто погружен в отделку кленового листа… И с тех самых пор этот Бог всегда принимает участие, в качестве одного из главных персонажей, в любом произведении Пастернака.

И вот еще несколько слов о Пастернаке из маминого письма к З.Руофф:

Вы были у Б.Л. в 57-м году — после тяжелой болезни, о которой он сам Вам сказал, что не чаял, что выкарабкается из нее, и в период появления одного за другим иностранных изданий ДЖ.

А представляли ли Вы себе когда-нибудь большого художника, нацело отрезанного от каких бы то ни было контактов с теми, для кого, ради кого и про кого он работает? Видели ли Вы когда-нибудь Бориса Леонидовича перед живой аудиторией? Знаете ли Вы, что каждое слово такого поэта — реальность. Вспомните те самые стихи, которые Вы поначалу не поняли. «Как будто побывал в их шкуре», «Я ими всеми побежден и только в том моя победа». Пожалуй, в этих стихах, как нигде, высказана тема «Б.Л. и люди».

Так вот, не только в те страшные дни, а всегда Борис Леонидович всеми возможными способами ловил отклик всех и каждого, и это нужно ему было не для тщеславия, поверьте мне.

А что касается его эгоцентричности — я могу Вам сказать, что всю жизнь была избалована людьми и их отношением к себе. Но у меня не было более внимательного, чуткого, самоотверженного друга, чем Б.Л. Как он умел помнить каждую мелочь, как он умел понимать то, чего другие даже не замечали. И не обо мне. О ком бы мы ни заговорили, как он умел — и это было его первым жестом по отношению к вспоминаемому человеку — выделить что-то самое хорошее и главное в человеке. Я не знала более доброго человека, вникающего более глубоко в каждого встречного, умеющего сдержать в себе все, что могло бы обидеть человека, даже если этот человек так глуп и бестактен, что нет человеческих сил его терпеть. В этом отношении я была полной противоположностью Б.Л.

<…>

Многие, по-видимому, считали Б.Л. гораздо глупее, чем он был. Он часто хвалил людей, с точки зрения других — преувеличенно и незаслуженно. А это диктовалось только его глубочайшей жалостью.

<…>

Дело совсем не в том, что я его хорошо знала, а Вы нет. Дело в том, что Пастернак, так же, как Рильке не литература. Каждое их слово действительно написано кровью. И если мы признаем это и верим каждому их слову, то нам подобает учиться и смиренно ждать понимания.

Отклики всех и каждого ему действительно были важны и интересны, он ждал и ловил их, даже таких зеленых юнцов, вроде меня и моих друзей. Очень удивился, и как мне показалось, даже огорчился, когда на его вопрос, как мне понравился роман, я сказала, что никак не могу дочитать, потому что все время плачу, а ведь сам же потом написал: «Я весь мир заставил плакать, над красой земли моей».

Возвращаясь к тому вечеру 27 декабря, когда Пастернак читал у нас дома Роман, мне хочется сказать несколько слов об А.С.Кочеткове, не большом, но очень настоящем поэте, не печатавшемся ни при жизни, ни после. Сейчас многие помнят строчки (не зная автора):…с любимыми не расставайтесь! (…) И каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг» из «Иронии судьбы», — вот уж, действительно, горькая ирония. Жил он с женой в восьмиметровой комнате в Брюсовском переулке, зарабатывая переводами. Еле сводили концы с концами, никогда ни на что не жалуясь. Их обоих отличала необыкновенная скромность и деликатность. Мама же вскоре после чтения романа договорилась с Пастернаком, чтобы тот послушал стихи Кочеткова, — сам он никогда не решился бы об этом просить. Перед тем, как начать поэму «Отрочество», Александр Сергеевич смущенно бормотал: все это вроде как «в огороде бузина, а в Киеве дядька». Ужасно ему хотелось услышать хоть слово одобрения от поэта, которого не просто ценил. — боготворил, — не услышал. Да, конечно, старомоден во всем, — в манере здороваться, низко наклоняясь всем корпусом, в чуть более длинных волосах, чем было принято тогда, в привычке носить трость, и при всем этом неизменная доброта, мягкость, привлекавшая к нему людские сердца. Грузины, которых он переводил, его просто обожали, — сужу по тому, как они принимали нас в Тбилиси и Сухуми, когда мы, как пропуск в их объятия, предъявляли его рекомендательные письма. После смерти А.С. Инна Григорьевна подарила мне на память его любимый однотомник Пушкина, а больше почти ничего и не было, «осталась — как он сам написал, — только горстка пепла, да свиток ангельских поэм».

До моего рождения мама проработала в разных учреждениях и машинисткой, и переводчицей — она свободно владела тремя европейскими языками. Но когда я появилась на свет, мама не

захотела оставлять меня на нянек и, бросив службу, стала зарабатывать перепечаткой на машинке. Благодаря живому складу ума, образованности, душевной широте и открытости она оказывалась в тесных дружеских отношениях почти со всеми, с кем ее сталкивала жизнь, — в тюрьме, в больнице, с крестьянами, у которых мы снимали дачу, с теми, кто приходил печатать свои работы.

Именно так в 40-м году завязалась дружба с Львом Зиновьевичем Копелевым, продолжавшаяся до конца ее жизни. Свою книгу «Фаустовский мир Пастернака» он посвятил памяти мамы. Вот, что он писал мне, получив известие о ее смерти: «… не знаю другого человека с такой чистой и цельной душой. Ведь и сердилась она на меня иногда, и судила, как мне казалось временами, несправедливо, именно от этой безоговорочной, не признающей уступок и отклонений душевной чистоты. (…) Очень много хорошего, светлого, дорогого связано у меня с Мариной, с ее человеческим обликом, с нашими беседами и спорами, которые как начались тридцать пять лет назад, так и не прекращались (с перерывами, правда). Менялись темы. предметы, — от Шиллера до Пастернака, Исаича, Экзюпери, Тейяра и пр…».

По детству запомнился мне красивым, высоким, взлохмаченным в клубах папиросного дыма — дымили в два беломора — иногда мама спохватывалась, выходили в переднюю, где продолжали курить, разговаривать, спорить.

Обожая немецкую культуру и Германию, неизменно твердил: как только начнется война, в первый же день уйду добровольцем. Так и сделал. После войны не появился, мама очень горевала — значит, убит. О послевоенном потоке на восток знали меньше, чем о довоенных арестах. Вдруг летом 56-го года на даче, листая «Иностранную литературу», видит подпись — Л.Копелев. Тут же написала в адрес редакции: «Вы ли это, Левушка?..» Через неделю пришел ответ: «…Да. я, полысевший, обеззубевший, но все такой же». С тех пор прочная дружба до самой маминой смерти, с ней. со всей нашей семьей, с моими детьми. (В одном из последних писем из Кельна спрашивал меня: «… что Кот, уже профессор, а как Марина маленькая — она тогда была уже давно не маленькая, но в отличие от мамы он продолжал ее так называть). И опять разговоры, споры. Сталина перечеркнул сразу же, но с Лениным еще долго не мог расстаться. Хотя в те же годы повторял: я свою десятку честно заработал (имея в виду и комсомольскую юность, и заманивание в плен немцев).

Всегда открытый, честный без тени зазнайства, даже в ту пору, когда стал московской фигурой, и дружить с ним и бывать у

них сделалось престижно. Безмерная доброта, отзывчивость, готовность помочь неизменно поражали. Но в гневе мог и крушить, и стучать палкой, как после второй книги Н.Я.Мандельштам: «Вы не вдова, — вы тень Мандельштама». (…) Любил застолья и пел громче всех, заглушая остальных. «Я знаю, чем ты берешь, — говорила его приемная дочь Света, — ты текст знаешь. Репертуар — и «Товарищ Сталин, вы большой ученый», и геологические, и частушки: «подружка моя, я еще девица, отчего же у меня началась грудница, (…) напиши скорее, эту гадость над тобой сделали евреи» (без всяких комплексов). Надо было видеть, как однажды у общих друзей они вместе с К.Богатыревым на безупречном немецком, притоптывая и дирижируя себе вилками, распевали песенку из «Девушки моей мечты».

Всюду, где бы он ни появлялся, его окружала толпа друзей и знакомых. Подмосковный поселок Жуковка на долгое время превратился в околокопелевский клан — жили и дети, и внуки, и родители, и многочисленные друзья и знакомые. Любвеобилие и общительность привлекали к нему сердца всех — подавальщицы, подходя к его столику, будь то в Коктебеле или Малеевке, расплывались в улыбках. В том же Коктебеле 9 мая с середины 70-х у почты перед телефонными будками собиралась не просто очередь, толпа. Л.З., особенно чтивший, как все фронтовики, этот день, поздравлял своих бесчисленных друзей — московских и ленинградских, и кто в Париже, и кто в Нью-Йорке, и от него же честное признание: самое страшное — атака, мне два раза приходилось ходить, бежишь до первой ямки…(«Я только раз видала рукопашный… кто говорит, что на войне не страшно, тот ничего не знает о войне». — Ю.Друнина).

И другой из его военных рассказов: отбивались, засев в Псковском кремле, до последних снарядов. Потом приказ — отступать, он и еще четверо должны были прикрыть отходящих, в последнюю минуту его заменили, — чудо, — те, что прикрывали, остались там навсегда.

И кто же, как не он, вступился за маму, когда ее подло и гнусно публично оклеветали (сама, слава Богу, до этого не дожила), и написал открытое письмо в газету, требуя, чтобы автор принес извинения дочери и внукам.

Его отзывчивости и душевной щедрости не было предела. Как-то еще в шестидесятых его друг Л.Оспо- ват в шуточной стенгазете, подаренной к Новому году, озаглавил одну заметку — «Печень всегда справа», пародируя название статьи Л.З. «Сердце всегда слева». Да, сердцу положено всегда быть слева, но так ли уж у многих оно вообще имеется, а все остальное ведь так неважно. «Спешите делать добро» — девиз Гааза, о нем написана

последняя книга Копелева «Добрый доктор». И сколько же сам Лев Зиновьевич сделал доброго в жизни!

Горячий и категоричный, не всегда полагался на свои оценки: когда Солженицын дал ему «Один день Ивана Денисовича» — вдруг напечатают, показал сначала (с ведома автора) двум ближайшим друзьям, и когда тот же Л.Осповат — не усомнившись первый провозгласил: «Это же гений!» — понес Твардовскому, остальное многажды описано.

Отличало его всегдашнее желание поделиться решительно всем: книгами, впечатлениями, друзьями. В начале 60-х они жили осенью в переделкинском доме творчества и вдруг нагрянули к нашим общим знакомым с Александром Яшиным и, как говорится, им угощали. Целый вечер, непрерывно куря и пряча в кулак горящий конец сигареты, Яшин читал письма, а их у него была толстенная папка, которыми его засыпали крестьяне с плачем и стоном о том, как голодают и вымирают деревни, письма, от которых волосы становились дыбом. Сам он удивительно располагал к себе какой-то удивительной простотой и серьезностью. Позднее я узнала и полюбила его стихи, особенно одно из последних:

Но где же все, чего я добивался?
Опять ко мне никто не постучался,
За целый день никто не постучался.
Никто!
Никак!
Хотя б не в душу, —
в дверь…

Тот же Лев Зиновьевич познакомил нас со своим другом по шарашке, Д.М.Паниным, Сологдиным из «Круга первого» (собственные воспоминания Дмитрий Михайлович так и назвал: «Воспоминания Сологди- на»>). Человек необыкновенной стойкости и силы духа, отгрохав 20, — всегда подчеркивал не 17, а 20 лет в лагерях, — и самые страшные: голод в годы войны такой, что все блокады, по его словам, несравнимы с тем, что пришлось пережить, — если чудом вообще кому-то довелось пережить, — мечтали, как о счастье, о штрафбатах — не пускали, — ведь не уголовники, и восстание в Экибастузе…, не был сломлен, но неизменно повторял: «Я готов к тому, что в любую минуту снова позвонят, войдут…», отказывался от любых самых пустяковых подарков, — спросят, потянется ниточка, нет, лучше не надо. И письма поначалу просил посылать ему только до востребования. В снег и в дождь появлялся без шапки и в штормовке (ветровке), все с тем же не потухшим «голубым пожаром» глаз. В «Круге» — шарашке, восставал против «птичьих»

(заимствованных) слов, а теперь то и дело вставлял французские словечки, к маме обращался не иначе как «мадам», нашу дочку называл «принсез Мален». Поклонялся Мадонне, к женщинам (на словах, разумеется) относился свысока, уверял, что на них и не смотрит (в шутку мы его прозвали «жил на свете рыцарь бедный»), когда сколотил деньги на однокомнатную квартиренку на ул. Дыбенко — очень подходящее название — уверял друзей, что ни одна баба не переступит его порога. На самом деле, конечно, очень даже поглядывал, — так восхитился Вертинской, увидев ее в «Гамлете», что я раздобыла для него ее фотографию. Повертел, повертел в руках и отказался, опять говоря, — потянется ниточка…

Отпуск проводил в Майори — кровать на веранде за занавеской, больше ему ничего и не требовалось, к неприхотливости приучила Колыма, спать приходилось иногда рядом с карцером, где избивали, и засыпал. В каждом письме сообщал, сколько заплывов сделал за день. Как-то перед отъездом, увидел у меня «Три мушкетера» и «Двадцать» и «Десять лет спустя» — ими тогда увлекался сын, — и попросил дать ему с собой на взморье; потом восторгался: потрясающая книга, какая замечательная школа для юношества! Нам приносил самиздатскую «Розу мира» тогда еще мало кому известного Даниила Андреева. (Сам Д.М. познакомился с ним на одной из пересылок.) Гостил у нас в Свистухе. Однажды, когда мы идиллически любовались закатом, привалившись к стогу сена (а говорили все про то же), он сказал мужу: «Если бы вы родились на двадцать лет раньше, вы были бы там же, где и мы. «Лучшего комплимента Вы мне сделать не могли», — улыбнулся муж. И тогда же прочел ему пушкинское «Паситесь, мирные народы», — надо же, удивился Дм. Мих., я думал, он только про ножки писал. А как-то приехал к нам в Протвино и. сияя, вытащил из кармана листок с новым стишком Галича: «…есть магнитофон система Яуза… «Эрика» берет четыре копии, вот, и все, и этого достаточно». Но оказалось недостаточно, — уехал (от сына отрекся еще раньше, оставил жену, прождавшую его полжизни у тюремных ворот), — действительно, вынести этот дамоклов меч. что опять все повторится, было невозможно. А еще мечтал встретиться с Папой Римским и показать свои опусы. Тот подарил ему квартиру в Париже, не за опусы, конечно, за перенесенное, а сам Д.М., пройдя и тюрьмы и лагеря, пережив все, в своей утопии предлагал построить (опять!) загоны для инакомыслящих и инакоделающих… Все мечтают переделать мир, насколько же труднее переделать себя.

Несколькими годами раньше тот же Лев Зиновьевич, опасаясь

грома и не решаясь сам вернуть маме «Живаго» после того, как Раиса Давыдовна Орлова успела сказать: мы революцию воспринимаем иначе — (это было еще в пятидесятых), — прислал своего друга, Ивана Дмитриевича Рожанского, уверяя, что он обязательно должен понравиться маме. И вот появляется высокий мужчина в роскошном пальто с еще более роскошным портфелем, мама подозрительно его осматривает, но все же проводит в комнату.

— Вы что же, за границей бываете?

А.Баранович-Поливанова. Оглядываясь назад

Да, работаю в ЮНЕСКО.

Может вы еще и партийный (а про себя — ну ясно, стукач)?

Да, партийный.

А потом, еще не дойдя до «Живаго», как начали по-немецки, перебивая друг друга наизусть всего Рильке… Это он, когда арестовали Копелева, не подписал ни одного протокола, из кандидатов (в партию) исключили, но как-то обошлось и даже так прошляпили, что опять послали за границу, и только, когда в газетном сообщении об очередном заседании ООН мелькнула его фамилия, кто-то наверху спохватился: это какой Ро- жанский, тот самый? Вернуть немедленно.

Из своих многочисленных заграничных командировок И.Д. привозил главным образом книги. В течение многих лет его друзья и знакомые без конца брали у него Хэмингуэя и Хаксли, Орвелла и Камю, Тейяра де Шардена и Кафку, Моруа и Саган и многое, многое другое. Этих авторов у нас тогда не переводили и в подлинниках тоже не издавали.

Откуда ты достаешь такие интересные книжки? — поразился как-то отец мужа, разглядывая кипу книг на моем столе.

Летом 60-го с подачи Рожанских мы жили в Жу- ковке, — сыну исполнилось только полгода, и я не решилась поехать куда-нибудь подальше в более дикие и красивые места. Вернувшегося в середине июля из очередной поездки Ивана Дмитриевича мама, как обычно, в первую очередь стала расспрашивать, что привез на этот раз.

И «Лолиту»? — спросила мама (о ней уже тогда много говорили и спорили).

Привез, — смущенно протянул И.Д., заранее предвидя мамину реакцию.

Привозил он и профессионально снятые кинопленки и охотно и безотказно показывал друзьям и друзьям друзей Италию, Париж, Швейцарию, Бельгию — на всю жизнь я запомнила умопомрачительный в золоте осени Брюгге, — ведь в те годы

простые смертные не могли увидеть эти красоты даже на открытках.

В той же Жуковке по вечерам, когда Наталья Владимировна, Иван Дмитриевич и Миша возвращались с работы, приезжал еще кто-нибудь из наших друзей из Москвы, и, наконец, засыпали дети, у нас на террасе происходили вслух чтения «Живаго» — времяпрепровождение, которое вызвало бы сейчас, в первую очередь у моих собственных детей, да и у всего молодого поколения только насмешки. Все замотаны, закручены, изменились пристрастия, вкусы, а я, пони мая что невозможно, хотя бы в мечтах, по-прежнем} вместе с Блоком «за верность старинному чину, за то. чтобы жить не спеша, авось да распарит кручин} хлебнувшая чаю душа». На письма и то нет времени, переписываются только по электронной почте.

Кто только не перебывал в гостеприимном доме Рожанских — не берусь даже всех перечислить. Друзья геологи и негеологи Натальи Владимировны, В.Т.Ша ламов, знакомые И.Д. из мира физиков (как-то Ні конференции на Кавказе И.Д. снял Нильса Бора і опять показывал друзьям трогательный кадр: старень кий, седовласый Нильс Бор, сидя на альпийском луп под Эльбрусом, собирает дикие цикламены), «невидим ки Солженицына», В.М.Борисов, А.А.Угримов, И.И Столярова, заходил в свои наезды в Москву сын Лео нида Андреева Вадим Андреев с женой. Их долго ш пускали в Россию, а в дальнейшем только в отпуск і то не каждый год. Тосковали, мечтали приезжат] почаще и понадольше. А впервые разрешили приехать как они сами рассказывали, после того, как В.Л разговорился в салоне парохода (можно себе предста вить какого ранга, — он работал в ЮНЕСКО) < Молотовым и пожаловался, что даже не может при ехать на родину. Оказалось, что тот (Вячеслав Михай лович) любит его отца, писателя Леонида Андреева, і пообещал сделать все от него зависящее.

В 66-м Солженицын читал у Рожанских (для маг нитофона в те годы в Москве это была болыпа) редкость — хотя горстка друзей, за которых ручалиа хозяева, была допущена) «Раковый корпус». Броса; сердитые взгляды на беспрерывно кашляющую жен;

Наталью Алексеевну, читал скорее как актер, не писатель, правда, мне больше доводилось слушать поэтов, но интонации… особенно конец «…первый день творения… и последний…» врезались в память навечно, и книга стала любимой тоже навечно, — перечитываю каждый год. Позднее А.IT. записал «Крохотки», главу «Улыбка Будды» из «Круга первого». Записывали Ахматову, однажды включили магнитофон без ее

ведома она в это время сидела за столом, разговаривала, много шутила. Особенно ее подзадоривал и подначивал Е.Левитин. Обнаружив проделку хозяев, А.А. сердилась и ворчала, но запись стереть не попросила. Читал для магнитофона Коржавин. — его тогда у нас почти не печатали.

Не успели только записать «неповторимый голос» Пастернака («Умолк вчера неповторимый голос и нас оставил собеседник рощ». — Ахматова). Мама мечтала об этом еще в конце 50-х, и предпринималось несколько попыток уговорить самого Б.Л., а нужно было еще договариваться с машиной — тогдашние магнитофоны были очень громоздкими — но то сам Б.Л. откладывал, то невозможно было сговориться одновременно с Ивин- ской и Иваном Дмитриевичем, а потом было уже поздно, и замысел остался неосуществленным. Очень обидно, потому что, как уже говорилось, немногие записи, сделанные иностранцами, лишь приблизительно передают, вернее, напоминают тем, кто его слышал, его и в самом деле неповторимый голос.

Появлялась в доме Рожанских в 70-е и Н.Я.Мандельштам. Нас с мужем познакомил с ней еще в 62-м наш друг Женя Левитин. Сам он разыскал ее в Чебоксарах, оказавшись там в командировке. Не помню уж каким образом он раздобыл ее адрес и заявился к ней довольно поздно даже по московским меркам, постучался, назвал себя, сказал, что давно любит Мандельштама. Н.Я. его не впустила, — мало ли кто мог так ввалиться, сославшись на любовь к поэту. Тогда, стоя за дверью, он принялся читать Мандельштама, читал, читал, а знал он его практически всего наизусть, так же, как и других своих любимых поэтов, и. наконец, минут через 20–30 дверь все-таки отворилась. В своей книге И.Я. назвала Женю «вестником новой жизни», до самой ее смерти он оставался одним из ее ближайших молодых друзей. Только ему и Мише (моему мужу) она прощала, что они больше любят Пастернака, чем Мандельштама, — больше это не прощалось никому.

Очень часто с Мишей, иногда вместе с Женей, мы забегали в Лаврушинский к Шкловским, где останавливалась Н.Я. в свои наезды в Москву. Поначалу там бывало не слишком многолюдно, хозяйки дома Василиса Георгиевна и ее сестра Наталья Георгиевна, Варвара Викторовна Шкловская с мужем и сыном Никитой. еще кое-кто из друзей Н.Я. Аура доброты, исходившая от старших хозяек дома, чаще молчаливых, но всегда улыбающихся, обволакивала комнату, стол, всех присутствующих и смягчала язвительность и колкости самой Н.Я. Вот как пишет о доме Шкловских Над. Як.: «В Москве был только один дом. открытый для отверженных… Однажды мы решили, что нельзя

больше злоупотреблять добротой Шкловских, боялись их подвести, вдруг кто донесет, а там и «загрохотать недолго»… Мы торжественно сообщили о своем решении и, не слушая уговоров, несколько дней не приходили… Чувство одиночества и бесприютности обострялось… Как-то О.М. не выдержал и позвонил… Приезжайте скорее, сказал Виктор, Василиса тоскует, места себе не находит. Через четверть часа мы позвонили, и Василиса встретила нас с радостью и слезами. И тогда я поняла, что единственная реальность на свете — голубые глаза этой женщины… Так я думаю и сейчас».

Иногда мы встречали там брата Н.Я. Евгения Яковлевича Хазина. Весь его облик библейского старца и опять же глаза, излучающие столько доброты и ласки (м.б. «малиновой»?), словно готовые заключить в объятья всех на свете блудных сыновей, контрастировали с характером сестры. Я смутно помнила его еще по детскому довоенному Коктебелю, но больше по рассказам мамы и своей свекрови. Однажды, когда Н.Я. появилась у нас дома, мать мужа сказала, что частенько вспоминает Евг. Я., собирается, но никак не соберется ему позвонить.

Ведь это так просто — снять трубочку и все.

Да, конечно, — согласилась с ней моя свекровь, — но как-то не получается.

Вам, Маргарита Густавовна, очевидно, никогда не приходилось месяцами, годами жить совсем одной, и вы даже представить себе не можете, что значит услышать знакомый голос, — с горькой улыбкой проговорила Н.Я.

Заводила и направляла разговор, как правило, сама Над. Як., присутствующие женщины больше помалкивали, иногда прерывая разговор, без видимой связи Н.Я. могла вдруг обратиться ко мне (я-то больше всех помалкивала):

Любите А.К.Толстого?

А я и впрямь его всегда любила и люблю.

Н.Я. не упускала случая поддеть Волошина.

Правда, гадкие акварельки? — прекрасно понимая. что в данном случае поддержки во мне не найдет.

Случалось, что приходило и побольше друзей. Особенно много собралось народу, когда вынесли приговор Бродскому. Не припомню точно всех присутствующих. Сама Н.Я. была чрезвычайно нервна и подавлена. За столом я подсела к ней и. ничего не говоря, положила ладонь ей на колено, она как-то сразу откликнулась на этот жест, взяла меня за руку и, поднявшись из-за стола, повела в маленькую комнатку за кухней, где она обычно и обитала, гостя у Шкловских. Сидя на узенькой тахте, курила сигарету за сигаретой, потом заговорила.

Знаете, я даже сама не понимаю, почему для меня это так мучительно… Мне чудится какое-то сходство, и дело не только в имени… Ося…

Потом на пять лет мы уехали в Протвино, муж продолжал с ней видеться, — он чаще и дольше бывал в Москве, а я только наездами. Увидела я ее снова летом 70-го в Переделкине, где она жила на даче с семьей брата, когда мы заехали к ней, чтобы вернуть рукопись «Второй книги».

Обиделись за Волошина? — был ее первый вопрос мне, тут я уже не спорила и не возражала. Не только все о Волошине, но и о Пастернаке, особенно их совместное резюме с Ахматовой: Пастернак вел себя на твердую четверку (по поводу его телефонного разговора со Сталиным, когда Пастернак делал все, от него зависящее, пытаясь заступиться за Мандельштама) — я, как и многое другое, не принимала.

А мама, прочитав рукопись, ценя первую книгу и саму Н.Я., сказала: писать нужно только о том, что любишь.

Однажды мама стала расспрашивать П.Я., почему у Ахматовой после всего пережитого, написанного «Реквиема», «муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне» такие трудные отношения с сыном теперь, когда он вернулся.

Ну, Марина Казимировна, Леве, естественно, хочется, чтобы мама подложила под голову подушку, налила чаю, поухаживала, а Анна Андреевна на такое не способна.

В 70-е годы Н.Я. без конца заводила разговор об отъезде. Ее многочисленные друзья наперебой отговаривали, подшучивали, понимая, что говорится это не всерьез. Миша как-то сказал ей: «Знаете, Надежда Яковлевна, что тогда для вас будет величайшим счастьем, — встретитесь где-нибудь с Вадимом Андреевым и тот почитает вам свои стихи».

Как-то у общих друзей она опять завела разговор об отъезде, и я вдруг не утерпела.

А вы слышали, Над. Як., что в Израиле Иегуди Менухина (скрипача!) били по рукам?

Перед этим она с восторгом рассказывала, что накануне попала на его концерт.

Ничего, я люблю, когда бьем мы, а не нас — в полемическом запале отрезала она.

В ее собственной квартире на Черемушкинской я бывала не часто, — в последние годы мама плохо себя чувствовала, и я редко куда-нибудь выбиралась, да и атмосфера у Н.Я. была уже не та. Народ валил валом, а всякие, как сказали бы теперь, тусовки, я с возрастом разлюбила. Особенно многолюдно бывало 27 декабря — условная дата смерти Мандельштама (когда- то

некоторые его почитатели, друзья Н.Я. С.Маркиш, В.Хинкис отправлялись в этот день к ней в Псков). Расспрашивая в очередной раз Женю Левитана, кто да как был у Н.Я., я не удержалась.

— Господи, а зачем еще Надежде Яковлевне понадобилась Ахмадулина?

Ну, когда на прощанье тебе говорят, — если вам захочется чего-нибудь невозможного, позвоните мне… — сыронизировал наш друг.

«Она была человеком, с которым очень легко подружиться. Прямая, откровенная, злая на язык и простая. Она учила своих собеседников не только свободе мысли, но и свободе высказывания… были набеги к Шкловским… Через несколько лет она наконец получила свою однокомнатную кооперативную квартирку… в первом этаже дома на Большой Черемушкинской улице. В первый раз после ареста Мандельштама она оказалась у себя дома… комната и кухня были обставлены кое-какой мебелью. На кухне кроме самых простых стола, табуреток, буфета и холодильника стоял старый ампирный диван красного дерева и висела замечательная среднеазиатская акварель Фалька. И часы с кукушкой, вечно останавливавшиеся.

В комнате, помимо кровати и платяного шкафа, помешался обыкновенный дешевый обеденный стол, на котором стопками лежали книги и папки и стояли сухие букеты цветов в банках. Более важные книги, в том числе Библия и западные издания Мандельштама, были затиснуты вместе с письмами и рукописями в старинный секретер, стоявший у кровати.

У кровати еще был столик с телефоном, книгами (часто английскими детективами), записными книжками, карандашами, записочками. И кресло. Над кроватью на стене, как картины, висели в ряд несколько старинных икон, из которых мне особенно запомнилось «Вознесение пророка Илии на огненной колеснице». Немного позже в красном углу на отдельной треугольной полочке появился образ Спасителя. Под ним иногда горела лампадка, и угол низкой комнаты закоптился до черноты… я к ней очень часто заходил… Гостей было всегда много — четыре — пять человек каждый день. Как-то моя жена спросила ее: «Надежда Яковлевна, как вы выдерживаете такое количество людей?»

Она ответила: «Если б вы пожили, как я, когда в течение двадцати лет я вообще никого не видела, вы бы не задали такого вопроса».

О чем мы говорили?.. Она читала те книжки, которые были так или иначе связаны с Мандельштамом: от Чаадаева до Бердяева… Мы много говорили о стихах, но не только

Мандельштама. Н.Я. восхищалась какими-то строчками Евтушенко. Там было чуть ли не «москвошвейная кепка моя» и еще что-то о родине и утках… Вообще же Н.Я. очень хотелось найти современного поэта. Она потом, вслед за Ахматовой, остановилась на Бродском…

С середины 60-х годов Н.Я. рассказывала по отдельным эпизодам свою вторую книгу, как бы оттачивая ее в этих разговорах. И то, что потом вызвало столько нареканий — ее пристрастность, обидные несправедливости, вряд ли обоснованные обвинения своих лучших друзей, — все это в разговоре выглядело гораздо мягче…

Однако все, что происходило вокруг издания (вернее, неиздания) Мандельштама, завершившегося только в 1973 году выходом жалкой книжечки, где он был оболган в предисловии и обкорнан до неузнаваемости в самих стихах, — рождало в ней жгучее раздражение и становилось «точкой безумия». Не удивительно, что в этих условиях друзья ей очень многое прощали…

Забегая к ней, я встречал у нее массу людей. Знакомых или скоро становившихся добрыми друзьями. Чаще всего это были Шкловские, но и многие, многие другие. Она дружила с двумя замечательными священниками: отцом Александром Менем и отцом Сергием Желудковым. Я встречал у нее Шаламова, Домбровского, Амусина. Льва Гумилева, мужа и жену

Мелетинских, знаменитого московского врача Гельш тейна. Не надо только представлять себе, что у нее собирались «знаменитости», напротив, было много молодых людей и «девочек», которые ей помогали жить. Если ей приносили какие-нибудь подарки, Н.Я. немедленно передаривала их кому-нибудь… Так же она обращалась с книгами… Книги, нужные ей для работы, она брала у кого-нибудь или оставляла у себя на время.

Когда она стала получать гонорары за свои книги, то все их раздавала. Она очень радовалась, что, нищенка и побирушка по обстоятельствам всей своей жизни, она теперь может делать подарки и помогать деньгами друзьям» [5].

II. Довоенное детство

А теперь, пожалуй, пора пролететь над одной пустыней своей жизни, над (сколько бы их там ни было)… и «перенестись в давнюю какую-то страну. Страну детства». Мне и вправду хочется на время погрузиться в детство, не только потому, что это «счастливая невозвратимая пора», за что бесконечное спасибо маме, а не тому, кого на все лады восхваляли «за наше счастливое детство» и кто сделал все, что только мыслимо и немыслимо себе представить, чтобы те немногие, лишь единицы, которым чудом повезло, могли на самом деле испытать это счастье, но и потому, что хоть и детскими глазами, я успела заметить и ощутить атмосферу предвоенных лет, некоторые характерные черточки времени, хотя зачастую это всего лишь мелочи, но иногда ведь и «мелочи преобладали». И еще мне очень хотелось бы мысленно произнести имена «ушедших теней моего детства», далеко не всех и не обязательно самых близких, так как бывает, когда, бродя по кладбищу, прочитываешь почти стершиеся надписи на заброшенных могилах, думая, что те, кто в ином мире, тебя услышат и как-то отзовутся.

Как и большинство людей, я начинаю помнить события своей жизни в полной последовательности и совершенно отчетливо, начиная с пяти лет. а до этого возраста в памяти сохранились лишь отдельные эпизоды. как, например, пожар деревенской церкви на Клязьме. Там же как-то перед сном я вытащила из-под подушки тридцать рублей, взятые мною утром с комода, совершенно не понимая, что это большие деньги, и отдала их своей няне, Наде, прося купить мне на них семечек, и тут выяснилось, что мама с Надей искали их весь день, так как они к тому же были последние, и на них предполагалось купить провизию. Еще вспоминается. как по вечерам, после перенесенных подряд кори и коклюша, мама, чтобы соблазнить меня выпить парного молока, считавшегося полезным, опускала в чашку дольку шоколада, — просто так в доме нишоколада, ни шоколадных конфет не водилось; обычные сладости — китайская смесь, вроде тех подушечек, услаждавших в позднейшие десятилетия всю провинцию, только с более привлекательным, как сказали бы сейчас, дизайном, и еще тоже дешевая халва.

Также почему-то запомнилась застекленная терраса дачи, где жило семейство Лебедева-Кумача, с которым мама дружила еще с юности (когда у того случались запои, его жена вызывала маму по телефону, — ее присутствие действовало на него успокоительно), но после того, как Лебедев-Кумач получил первую Сталинскую

премию и приобрел сразу два письменных стола красного дерева, он перестал нуждаться в маминой дружбе. Рассказывали, что тогда же на калитку перед его уже собственной роскошной дачей кто-то прилепил плакат: «Нам песня строить и жить помогает».

Выучилась читать я по вывескам и в пять лет уже свободно читала. Надо сказать, что ассортимент детских книг, в особенности переводных, был необыкновенно беден. Для маленьких — бесконечный Чуковский, Маршак, Барто, издававшиеся и переиздававшиеся и в твердых, и в тонких переплетах, самых разных форматов, существовала даже серия «книжки-малышки» (6 х 8). Для тех, кто постарше — Гайдар. А была еще и такая «детская» книжица про акулу, гиену и волка того же автора, что и любимые всеми «детки в клетке». Иллюстрации в ней сильно смахивали на кукрыниксовские карикатуры военных лет: желтая акула — Япония, коричневая гиена — Италия, и черный волк — Германия; только почему-то упустили из виду красного хищника, может потому, что таких даже и в природе не бывает.

Моей первой любимой книгой была «Про девочку Машу, собаку Петушка и кошку Ниточку» А.Введенского (впоследствии арестованного и расстрелянного), и хотя меня несколько смущало, почему у собаки и кошки такие нелепые имена, это не мешало мне ее без конца перечитывать, так что еще долго друзья дразнили меня, что кроме кошки Ниточки я ничего в жизни не прочитала. Чуть позже я полюбила Бианки, Чарушина, Сетон-Томпсона и Паустовского за его уменье почувствовать и передать, будь-то средняя полоса или юг, живое дыхание природы.

Из переводных, кроме упомянутого Сетон-Томпсона, можно перечислить очень немного: «Маугли», «Серебряные коньки», сокращенное «Путешествие Ниль- са», вышедшее в полном виде относительно недавно, «Том Сойер», «Саджо и ее бобры», ну и сказки Андерсена. Перро, Братьев Гримм и некоторые другие. Вот почти и все, так что я очень быстро перешла к Фабру, Брэму и к русской классике. Правда, когда я поступила в школу, некоторые одноклассницы увлекались еще Кариками, Валями, Травками и Волшебником изумрудного города, но я, как и многие мальчишки, тогда уже зачитывалась Жюль Верном и полярными путешествиями. А еще в той же школьной библиотеке девчонки без конца брали «Мальчик из Уржума» — детство Сергея Мироновича Кирова. Слово «Уржум», словно назойливая муха просто жужжало в классных стенах.

В одной из бесед митрополит Антоний Сурожский сказал, что детские книги должны учить благородству, любви к правде, жертвенности и самообладанию. Таких книг для маленьких

читателей вообще существует не так уж много. А в те годы, если не считать «Серебряных коньков», в какой-то мере отвечающих этому требованию, «Льва и собачки» Толстого, сказок Андерсена и «Василия Шибанова» А.К.Толстого (его мне часто читала двоюродная бабушка, Клавдия Владимировна, и мимо которого невозможно, как мне кажется, пройти, воспитывая ребенка), — просто не было. Что такое хорошо и что такое плохо понималось совершенно иначе не только в области детской литературы.

Я упомянула о сокращенном «Нильсе», но сокращали не только ради простоты и доступности, зачастую делались просто купюры, — из Андерсена, из тех же «Серебряных коньков» изымались такие слова и словосочетания, как Бог, Христос, Рождество, осенять знаменьем, благословлять — ведь религия и все, с нею связанное, — опиум. А сколько книг вообще не издавалось и не переиздавалось по самым разным причинам. «Легенды о Христе» той же Лагерлеф, мама с трудом раздобыла у своей знакомой и перепечатала для меня, «В пустыне и дебрях» Сенкевича дала на два дня мамина институтская подруга, работавшая в спецхране Ленинской библиотеки. Позднее я пыталась достать ее для своих детей, спрашивала у всех знакомых, ни в одном «полном» собрании писателя ее не печатали; впервые издали лишь после перестройки. Оказывается, арабы у Сенкевича далеко не ангелы.

Ни под каким видом не издавали пусть и слащавую Чарскую. Уж лучше с детства мечтать, как Женя из «Тимура и его команды», поехать в мягком куда-то далеко в бронепоезде (интересно, куда? ведь в мирное время бронепоезду вроде бы положено «стоять на запасном пути»). Если песенка о летчиках, то первым делом бомбы, а самолеты уж потом («летчики, пилоты, бомбы, самолеты), а убивают только вредители, как в «Военной тайне» того же Гайдара, если это не Павлик Морозов, тогда наоборот — герой. А сколько восхищались «Педагогической поэмой», — не только дети, родители не слыхали (может быть, не хотели слышать?), что знаменитый Макаренко сдал питомцев чекистам.

Миазмы со страниц книг, экранов (во втором классе нас водили смотреть «Случай на границе» — японцы пытают наших, загоняя под ногти иголки, много лет я не могла без содрогания подумать о японцах), просто из воздуха проникали под кожу, в душу, в сердце даже тех, от кого дома не скрывали ничего и прочищали, и прочищали мозги. Сияла же я, хоть и в шесть лет, когда утром отправлялась в группу, и на мое приветствие в воротах напротив Буденный отдавал мне честь.

Выбор игрушек был тоже невелик, а в пору самого раннего

детства купить куклу было просто невозможно. Поэтому первую мне сшила Надя. Голову удалось все же где-то раздобыть, а туловище, руки и ноги пришлось набить опилками. Она долго оставалась единственной игрушкой, если не считать еще нескольких матерчатых зверей, пока не появились целлулоидные голыши — они стоили недорого и поэтому были всем доступны в отличие от роскошных кукол с закрывающимися глазами. Существовали кое-какие не слишком затейливые настольные игры — блошки, мозаики, лото но меня они никогда не привлекали (как ни странно, елочные украшения были интереснее и разнообразнее, чем позднейшие), а вот раскрашивать платья для кукол, которые мама искусно вырезала из бумаги, доставляло мне большое удовольствие, особенно когда взамен самодельных появились картонные со всевозможными туалетами, которые тоже надо было красить. Еще мы с мамой очень увлекались складыванием картинок (теперь это называется пазл), их мама покупала у сына Саввы Морозова, Всеволода Саввича, уже очень старого, жившего на нашей улице и зарабатывавшего себе на кусок хлеба распиливанием таких картинок, наклеенных на фанеру.

Больше всего я любила ходить с мамой или Надей в Кустарный магазин в Леонтьевском переулке, правда, собственно игрушки там не продавались. Сейчас он выглядит очень убого, хотя там и находится музей народного творчества. А в ту пору он поражал детское воображение, в первую очередь колоннами до самого потолка, расписанными хохломскими узорами, и такой же детской мебелью — столами и стульчиками, о которых я не смела мечтать. Там все стоило очень дорого, и единственное, что мама мне, в конце концов, подарила, после долгого ожидания, — крошечные бирюльки, помещавшиеся в коробочке размером с наперсток. Дешевыми были только маленькие, меньше мизинца, бархатные медвежата, их делали тут же в подвальном помещении магазина, и я могла подолгу простаивать перед окнами, наблюдая как женщины, мастерицы, пришивают головки и лапы, разложенные рядом на столах. Но это девчоночьи глаза заглядывались на мелочи, а когда одного мальчика (моего будущего мужа) его дед, Г.Г.Шпет, привел в тот же кустарный магазин и сказал: «Выбирай, что хочешь», — «Колонну», — конечно, не задумываясь, ответил мальчик. Тут даже известный философ не нашелся, что ответить.

Еще мы часто заходили в магазин «Игрушки» на Арбате, но покупали что-нибудь редко и самое недорогое, вроде кукольной посуды. На Арбате же находился магазин «Восточные сладости» с необыкновенно вкусными вещами, а во многих кондитерских

продавались любимые всеми шоколадные бомбы, побольше и совсем маленькие, с сюрпризами. В маленьких сюрпризами чаще всего оказывались опять же бирюльки.

С рынка Надя то и дело приносила восковых уточек, — их любили все дети.

Еще у меня было много берестяных корзинок, туесков, лаптей — их привозил из экспедиций старый мамин друг А.Сухотин, лингвист, исходивший и исколесивший наш Север, собирая диалекты. Мама рассказывала, что, как-то, гуляя с ним, они забрели на переделкинское кладбище, вдруг мама заметила, что тот помрачнел.

Что с тобой. Алеша?

Да ведь это все мои предки, — на бесчисленных надгробиях: Бодэ-Колычевы, убиенный тогда-то, казненный тогда-то…

16 октября 41 года он ушел пешком из Москвы и умер в дороге.

Но возвращаюсь к игрушкам — их продавали и в других магазинах, но мы бывали только там, если не считать прогулок в выходные дни с семьей дяди, с непременным заходом в Мосторг (ЦУМ), где нам с сестрой тоже что-нибудь перепадало.

А вот гулянья с Надей, превращавшиеся в бесконечные кружения по магазинам в поисках пшена, мануфактуры, как тогда говорили, и других необходимых вещей, чтобы отвезти или отправить их домой, в деревню под Воскресенском, я очень не любила.

Перебралась Надя в Москву не только чтобы прокормить и одеть дочку и родителей, но еще и потому, что до этого работала на Воскресенском цементном заводе, а рабочие там редко доживали до пятидесяти лет (где вы были, экологи?).

Все такие прогулки заканчивались обычно ГУМом, где Надя не успокаивалась, пока не обходила все отделы.

С мамой мне удавалось гулять очень редко, — она с утра до ночи стучала на машинке. Ездили, конечно же, в Нескучный, на Воробьевы горы, в Коломенское — до самой шатровой церкви уходила в гору заросшая травой и лопухами деревенская улица, утопающая весной в сирени и яблонях. А еще чаще отправлялись на Дорогомиловское кладбище, на могилу к бабушке. Мама с какой-нибудь подругой болтала, а я рвала цветы на железнодорожном откосе — могила была в крайнем ряду. В 44-м приходим — нет могилы. Мы в контору, спрашиваем могильщиков, один не сразу вспомнил, а другой ему: «Ну как же, белый мраморный памятник с лампадкой, такой красивый, мы еще там всегда выпивали», — совсем как в Гамлете. Объясняют: в 42-м висело объявление, что собираются ликвидировать часть

кладбища. Мама страшно горевала и долго не могла успокоиться, но хоть гроб был оцинкованный (бабушка умерла в Финляндии), разве могли мы. даже если бы знали, перевезти его на Немецкое, где похоронены родственники по линии деда, — ведь сами тогда еле ноги таскали.

Еще мы часто с той же Надей, реже с мамой, бывали в книжном магазине на Тверской, рядом с Моссоветом. Там, кроме прилавков с книгами, были витрины с макетами или панорамами на сюжеты из Маугли или Айболита, перед которыми всегда толпились дети, так же как у огромного чучела бурого медведя с подносом в лапах, стоявшего при входе в Военторг и сохранившегося, очевидно, от былых времен. В том же книжном магазине я как-то попросила купить мне карточку Бабановой, о которой тогда решительно ничего не знала, — мне просто понравилось ее лицо. Вскоре после этого мы с мамой встретили Марию Ивановну на Никитской. Мама, не будучи знакомой, с ней поздоровалась и со свойственной ей непосредственностью сказала: «Вас очень любит моя дочка». М.И. улыбнулась, протянула мне руку и произнесла несколько ласковых слов. Увидела я ее на сцене и полюбила как актрису значительно позднее.

Перед Новым годом на Манежной площади устраивали праздничные базары: ставили палатки, зажигали огромную елку, на подмостках, сколоченных на скорую руку, выступали артисты.

А весной дети с мамами или нянями отправлялись смотреть ледоход на Москва-реке. О начале ледохода сообщалось в газетах. Как-то тоже из газеты мама узнала, что в Ботаническом саду (зимой!) распустились орхидеи. Мама загорелась, и мы отправились; и ботанический сад, и два чахлых цветка выглядели убого.

Вся Москва для меня сосредотачивалась в пределах между Тверской и Арбатом с прилегающими к ним переулками. Уже зоопарк казался далеким — туда надо было ехать на трамвае. А так почти все друзья и знакомые и группа, куда я поступила, а в дальнейшем школа, были поблизости. Исключение составляли только мамины тетки, жившие в районе Чистых прудов, к ним — на метро. Вместо автоматического «Осторожно, двери закрываются» машинист, выходя на станции, кричал: «Га-атов!», после чего поезд трогался.

Тротуары в арбатских переулках в пору моего детства были выложены плитами из светлого камня, весной в щелях между ними пробивалась трава, а в ручьях, бегущих вдоль них, дети пускали бумажные кораблики и собирали цветные стеклышки. И долго еще, годов до шестидесятых Арбат оставался неким

заповедным царством. Там продолжали жить совсем особенные старики и старушки, скромно одетые, в бессменном берете, с интеллигентными лицами, которых сейчас, пожалуй, не встретишь.

На Арбате же, вернее, на Арбатской площади, я впервые оказалась в кино, сначала на вечернем сеансе на «Кукараче». Я мало что поняла и тогда, а теперь, кроме песенки, и подавно ничего не могу припомнить. Мама взяла меня с собой просто потому, что не с кем было оставить. А на «Трех поросят» Диснея мы отправились специально ради меня. Кроме «Трех поросят» показали еще коротенький фильм про пингвинов, которые никак не могли вскарабкаться на ледяную гору и беспрестанно сползали вниз. Перед сеансом оркестр исполнил песенку «Веселый ветер», — она была столь же популярна и распевалась всеми так же. как и «Все синеет на просторе: и весенняя гроза, небо синее и море, и твои глаза».

По вечерам мама редко куда-нибудь выбиралась, но все же выбиралась — реже в театр, чаще в Консерваторию. Обожала Шостаковича, им тогда все восхищались. После первого исполнения Пятой симфонии Пастернак говорил: «Подумать только, взял и все сказал, и ему за это ничего не сделали». Всеобщее восхищение Шостаковичем еще понятно, но и в картинах Дейнеки виделась какая-то свежесть, и даже в «Тихом Доне» люди, в общем-то, искушенные, что-то находили.

Когда мне исполнилось пять лет, мама, следуя установившейся традиции, повела меня во МХАТ на «Синюю птицу». Я смотрела и слушала, затаив дыханье, и пришла в полный восторг. — так с малолетства в меня вселилась неистребимая страсть к театру, а уж к раздвигающемуся занавесу с Чайкой… Тогда же мы побывали в Большом на «Коньке Горбунке» и «Трех толстяках», — весьма посредственных постановках, в особенности «Три толстяка», но они произвели на меня огромное впечатление, и балет я тоже полюбила на всю жизнь. А вот «Кот в сапогах» и «Лампа Алладина» у Образцова мне совсем не понравились; я невольно сравнивала их с «Синей птицей», где, несмотря на весь символизм, естественно, мной тогда не замеченный, все было взаправдашним, а здесь — нет, хотя условность балета не помешала мне его оценить. По той же причине, за редкими исключениями, я не любила сказки.

Театр в нашем доме — это не только семейная традиция, не тема и не атмосфера, но что-то неосязаемое, протянувшееся от маминой юности. Еще не начав бегать в театр самостоятельно и не застав ни «Турандот», ни «Дни Турбиных», я знала, что неподражаемый Калаф — Завадский, а первый (тоже

неподражаемый)

Лариосик — Яншин. И с детства помню мамины восторженные рассказы и о «Чуде Святого Антония», и о «Битве жизни», и песенку оттуда: «Здравствуй дом, прощай дорога, сброшен плащ в снегу сыром, если нет для гостя грога, то всегда найдется ром».

У маминой мачехи, хотя она была врач, тоже с молодости сохранились какие-то актерские связи, и то в Москве, то на их даче, появлялись или А.Грибов с гитарой, или Ф.Михальский, бессменный администратор МХАТа, — еще и в 50-х я получала в его окошечке контрамарки и билеты — единственный персонаж из «Театрального романа» (когда читала, хохотала так, что скулы болели), которого знала лично, а потому могу судить не по чьим-то воспоминаниям или рассказам, как по-булгаковски остро и виртуозно переданы все остальные. И Грибов, и Михальский любили петь старинные романсы, так как пели их, вероятно, в конце прошлого и в самом начале 20-го века — не горлом, вообще почти без голоса, а душой, музыкальным настроением, едва перебирая струны и передавая все ощущение осенней грусти в immemorial «Отцвели уж давно хризантемы в саду» или «Я камин затоплю, буду пить» (только теперь понимаю, почему хорошо бы еще при этом купить собаку).

Очень рано мама начала меня водить в Третьяковку, где на первых порах меня больше всего пленяли Шишкин, Брюллов, Куинджи, и только позднее я перенесла свою любовь на Поленова и Левитана. Мама старалась никогда на меня не давить, в особенности зная, как силен во мне дух противоречия, и терпеливо дожидалась, когда я сама разберусь и пойму, что действительно интересно и достойно восхищения, а что — нет. Так же и с собиранием открыток, — мама очень радовалась, когда безо всякого нажима с ее стороны на первой странице альбома вместо пошлых старинных шедевров, один из которых назывался «для милого дружка и сережку из ушка», появились Серов и Левитан.

Но в иных случаях мама проявляла твердость и непреклонность. Сосед по квартире, Володя, пятью годами старше меня, был для меня в раннем детстве предметом поклонения и подражания. Когда он nomej в школу, я могла подолгу простаивать у его стола, дс которого еле дотягивалась, и смотреть, как он cbohiv каллиграфическим почерком выводит округлые цифрь и буквы. Перед наступлением майских или октябрь ских праздников он с громкими криками «украшать украшать!» принимался устраивать у себя в комнате красный уголок с портретами, флажками и прочим! аксессуарами. И вот,

однажды полюбовавшись на еге работу и загоревшись его примером, я отправилась і себе, вырезала из большого детского календаря Марк са, Энгельса, Ленина, Сталина и прикнопила их к стене над игрушками.

Вернувшись откуда-то домой, мама немедленно все это сорвала, влив в меня, таким образом, одну и; первых доз противоядия против режима, системы \ царившей идеологии. Хотя я чуть ли не с пеленок зналг слово «концлагерь», плохо представляя себе его значе ние, но понимая, что это что-то очень страшное, чаете слыша его от мамы. Тогда же мне запомнилась фраза продиктованная маме какой-то женщиной (я всегда чем бы ни была занята, прислушивалась к маминых разговорам и к тому, что ей диктуют, хотя вообще noj диктовку мама печатала редко): «на Колыме посуд; мочой моют». Не знаю, кто была эта женщина и Каі можно было такое произносить. Впрочем, контекста > не запомнила, а может и не расслышала, но фраза і памяти осталась.

Как и со всем остальным, немало проблем было < одеждой. Обычно я носила бумазейные платья, сшитьк Надей, или кофточки, которые и себе и мне вязалг мама, а мечтала, как и все тогда, о матроске, но из-зг дороговизны мне ее долго не покупали, а когда все-та ки она была куплена, то главное ее украшение, в моиз глазах, — воротник — мама тут же спорола, он казалс! ей безвкусным, а, кроме того, это была попытка оту чить меня от чувства стадности: пусть матроска, не хоть без воротника. По той же причине мама пыталас! сопротивляться против шапки-испанки (в них разгули вали все дети), но, в конце концов, уступила моим мольбам, и мне сшили синюю испанку. Об Испании так много говорили и писали, она так прочно вошла в сознание как взрослых, так и детей, что однажды, уже засыпая, я даже сочинила стишок:

Мама, когда начнется война? Не знаю, дочка. Может и в эту ночку, Может быть и сейчас, Может и в ту ночку. Засыпай, моя дочка.

И въелась же в печенки эта Испания, — в прошлом году разглядываю подаренную открытку, читаю на обороте — Уэска, и мгновенно из памяти, как звон будильника «… он жив, он сейчас под Уэской, солдаты усталые спят, над ним арагонские лавры тяжелой листвой шелестят», — Симонов, памяти Ма- тэ Залка. После всех прочитанных книг — «По ком звонит колокол», записок об Испании Орвела, Сент — Экзюпери, после всего узнанного позднее о самом Матэ Залка, — как невытрав- ленное клеймо).

Между прочим, тогда же появились в магазинах испанские апельсины и кое-что из одежды. Мне мама тоже купила какие-то

маечки. Это были первые импортные вещи, только их еще так не называли. Примерно в ту же пору стали продаваться самые разные предметы, поступавшие из захваченных прибалтийских стран, начиная от вкусного недорогого печенья, гребенок и вазочек из хорошей пластмассы и кончая мебелью, которую приобретали люди побогаче.

Когда мы снова «освободили» прибалтийские страны, в Москву потек дешевый янтарь; «янтарю, что песку там морского» — почему бы и не продавать по дешевке, тем более «свой», и разнообразные писчебумажные принадлежности, почтовые наборы с роскошными конвертами, ни до, ни после я таких не видела, бумага, тетради, блокноты, папки и проч.

А так я не припомню, чтобы до середины 50-х кто-то из знакомых или соседей приобретал хоть что-то из мебели. В 37-м родилась моя двоюродная сестра, — целый месяц она лежала в плетеной игрушечной кроватке из-под моих кукол, пока не раздобыли у друзей старую детскую.

После «освобождения» Западной Украины из Львова, где от всеобщего ликования «специально сады расцвели» и «девушки сшили новые юбки» («… для вас специально сады расцветут, ждем вас во Львове»), хлынули пластинки Лещенко и Эди Рознера. У одних друзей была такая: «… а потом мы в заключенье ели банками варенье… Кто же наша бабушка?… Наша бабка, как ни странно, главный повар ресторана, ха, ха, и-о-ох!» Когда Эди Рознер исчез, исчезла у друзей и пластинка, «кому-то отдали», объясняли они, но мама не верила: «испугались и припрятали».

Как ни странно, в те же трудные годы привозились гиацинты из Голландии. А так как жить становилось все лучше и веселее, голодной стране был преподнесен очередной трогательный подарок: книга о вкусной и здоровой пище, изданная по указанию Микояна. А чтобы ничем не омрачать веселье народа, со временем из языка стали убирать, по возможности, все, что могло навести на мысли о смерти, превратив мертвый час в тихий, а умирающего лебедя просто в лебедя.

Кроме матросок и шапок-испанок существовали и другие искушения, с которыми мама не в силах была справиться, — демонстрации. Они запружали и Никитскую и Воздвиженку (ул. Коминтерна, позднее Калинина), так что наша улица — Грановского — оказывалась блокирована часов до пяти. Ни пройти к нам, ни выйти было невозможно. Я, конечно, рвалась смотреть эти шествия с портретами, плакатами, флагами и бумажными цветами. Конная милиция перегораживала с обоих концов переулок. Надя подсаживала меня на полукруглый выступ углового дома, откуда хорошо можно было все разглядеть. Но я

еще мечтала попасть на парад,

Подготовка к параду начиналась чуть ли не за месяц: уже не в детстве, а в конце 50-х, мы с мужем, очевидно, задержавшись в гостях и опоздав на метро, возвращались домой пешком. У пл. Маяковского нам надо было пересечь Тверскую (ул. Горького) — подземных переходов тогда не было, а по улице двигалась наша славная бронетехника. Как быть? Пережидать и думать нечего, перебежать между колоннами, — они двигались с расстоянием метров 25 друг за другом, а ведь «танки наши быстры», и остановить их тоже невозможно. Еле успели проскочить перед самыми гусеницами.

который увидела впервые только спустя много лет по телевизору, после чего у меня пропала охота смотреть на орудия массового уничтожения, а на Красной площади с демонстрацией я оказалась будучи в университете, когда уже совсем к этому не стремилась. До начала парада живший напротив в правительственном доме (переулок из-за этого охраняли три милиционера, — по краям и в середине, и несметное количество шпиков в штатском) Буденный лихо отплясывал у ворот вприсядку, приводя в восторг обитателей соседних домов. И как ни сопротивлялась мама, я застави- ла-таки ее пойти со мной в мавзолей, о чем до сих пор вспоминаю со стыдом, но в пять лет не могла не поддаться стадному чувству, так же как с увлечением папанинцами. Правда, когда им грозила гибель, даже мама с волнением проглядывала утром газеты, чтобы убедиться, живы ли. А когда те вернулись, все ребята стали писать им письма. Моим героем был Кренкель, и я тоже сочиняла ему письмо, но не помню, отправила или нет.

Лишившись лечебницы, дед поселился в большой квартире, в одном из шереметьевских домов, но потом началось уплотнение и «в квартиру нашу были, как в компотник, набуханы продукты разных сфер». Таким образом, вместо одной семьи, в ней оказалось семь. Одну комнату занимала его старая приятельница, Мария Григорьевна Иегова. После революции они с семьей пытались уехать, но застряли в Крыму, а вернувшись в Москву, нашли свою квартиру занятой. М.Г., или Буба, заменявшая мне бабушку, отсутствие которой я остро ощущала, владела раньше имением под Клином; ее рассказы о тамошней жизни я могла слушать до бесконечности. Когда-то, судя по фотографиям, она была красивой, привлекательной женщиной, играла в четыре руки с Рахманиновым, бывавшим у них вместе с Шаляпиным, при этом много занималась хозяйством и разводила многочисленные породы кур, получая за них медали на выставках. С ней жила ее младшая дочь, служившая где-то машинисткой, а сама Буба

работала в артели и вязала то шарфики и тюбетейки. то дамские сумочки, одно время очень модные. Она дружила с дочерью Дурова, Анной Владимировной, и водила меня к ней в Уголок, где меня больше всего поразила мышиная железная дорога: и машинист, и кондуктор, и пассажиры, менявшиеся на остановках по звонку, были белые мыши. К другому своему знакомому, старому садоводу, она неоднократно относила лимонные и апельсинные кустики, которые я выращивала из зернышек, но, невзирая на все попытки их привить, лимоны так никогда и не выросли у меня на окне.

Были у нее и другие приятельницы из «бывших». Одна шила подушки для диванов, искусно отделывая их разнообразными цветами из шелка, другая, не слишком приятная особа с птичьим носом, занималась маклерством, продавая всякие драгоценные украшения современным нуворишам, и, очевидно, существовала на часть вырученных денег. Она не любила, когда я присутствовала при ее разговорах с Бубой о «делах». От этого она, вероятно, была мне несимпатична, а мне просто нравилось рассматривать красивые старинные брошки и другие вещи, которые она осторожно извлекала из сумки.

Подобно многим старым барыням, казалось бы, белоручкам, М.Г. умела решительно все, — не только рукодельничать, но прекрасно готовила. Когда она разделывала и укладывала в селедочницу селедку, я просто налюбоваться не могла, — так виртуозно она это проделывала. Дед тоже и с готовкой и с топкой печей прекрасно справлялся, а уж о его саде при небольшой дачке в Лоси и говорить не приходится. До войны — самые разнообразные цветы, потрясающий розарий, всевозможные ягоды, овощи; надолго запомнились темные, «черные» розы, вероятно потому, что полюбив «я послал тебе черную розу в бокале», всегда вспоминала виденные в раннем детстве у деда. А всю войну их кормил его огород.

Но и сама Буба была уплотнена, так как занимала слишком большую комнату, и там же, за занавеской жила старушка, Анна Петровна, когда-то работавшая на табачной фабрике, но давно уже перебивавшаяся на мизерную пенсию по инвалидности из-за сухой руки. Она не очень ладила с Бубой. главным образом, из-за радио, которое у той вообще не выключалось. А сама Буба, сидя на диване и занимаясь вязанием, не упускала случая, шла ли речь об очередных успехах в сельском хозяйстве или других производственных достижениях, сказать: «как же» или «как бы не так», или «опять хор Пятницкого!» Анна Петровна никогда не была помещицей, не общалась с великими музыкантами, но была, в сущности, гораздо более культурным человеком. Она без конца

брала книги в библиотеке, бывала, если позволяли средства, в Консерватории, особенно, если исполняли «Пер Гюнта». Позднее, когда появились проигрыватели и записи классической музыки, ходила к своим друзьям на «четверги» слушать пластинки. Комнату рядом занимала семья Володи, о котором я уже упоминала. Во время войны он потерял обоих родителей и, оставшись совсем один, еще подростком, не сбился с пути, а закончил школу и институт, хоть и приходилось сидеть на хлебе с водой. И, наконец, в последней комнате — работница с пивзавода со старушкой матерью.

Жили в целом мирно, но перепалки иногда случались. У нас было голландское отопление, что оказалось очень кстати во время войны, так как трубы от печурок можно было вывести в дымоход, а не в форточку. В те годы домов с центральным отоплением и газом было сравнительно немного. В домах, где был газ, уже на лестнице чувствовался особый занах; позже, когда газ провели повсюду, его перестали замечать. Дрова хранились в подвале и в сарае. Со двора то и дело разносилось громкое «старье берем», возвещавшее прибытие старьевщиков. Они одаривали бумажными мячиками на резинке или свистульками толпившихся вокруг них ребятишек. Каждое утро, но не в такую рань, когда с черного хода на кухне появлялись молочницы из деревни с огромными бидонами, дворник Степан приносил целыми вязанками дрова (мы жили на четвертом этаже и таскать самим не всем было под силу), и сразу в квартире начинало пахнуть лесной сыростью и дачей. Был еще второй дворник, Абдул, погибший в первый год войны, оставив жену татарку с кучей маленьких детей. Она одна всех выкормила и поставила на ноги, зарабатывая чем придется, не отказываясь ни от какой самой тяжелой и грязной работы.

Однажды мой дядя, страстный охотник, заметив, что из его поленницы пропадают дрова, заявил во всеуслышание на кухне, что набьет несколько поленьев порохом. Что тут сделалось с одной соседкой! «Хулиганство какое, — кричала она — а что если я «случайно» возьму не свое полено?»

Но, в общем, скандалов не было. Только няньки, их было две — Надя и няня моей двоюродной сестры, которую вся квартира так и звала просто Няней, терпеть не могли друг друга. Надя спала в передней на старом дедовском сундуке, а няня, Александра Ивановна, в той же передней на раскладушке. Только в войну, когда Надя уехала к себе в деревню, сундук в качестве ложа перешел к Няне. Она проспала в этой передней чуть ли не до конца жизни, уже не будучи ничьей няней, пока ее племянница не получила от завода комнату и не взяла ее к себе, так что хоть

перед смертью она пожила в более или менее человеческих условиях. Надя была для мамы не домработницей, а членом семьи, другом и поддержкой во все трудные минуты. Я ее тоже очень любила, и между нами никогда не было никаких размолвок, если не считать ее обид, когда я проявляла излишнюю нетерпеливость и слишком горячилась, пытаясь научить ее писать и читать, а ей это трудно давалось. Но я тут же просила у нее прощения, видя, как она сама огорчена, и мы сразу мирились. Так и не удалось ей овладеть грамотой. Мастерицей она была на все руки и обшивала на старой маминой зингеровской машинке не только меня с мамой, но и всю квартиру, а в свободное время вязала бесконечные кружевные салфетки или шила для моих кукол. Одевала кукол и Евгения Александровна, появилась она у нас еще до войны, вот каким образом: как-то в Сокольниках маму окликнула женщина.

Какое отношение вы имеете к Саше Баранович?

Я ее дочь, а вы?

А я гимназическая подруга вашей матери.

Жила она в нищете, пытаясь заработать рукоделием

и уроками. Мама старалась чем можно помочь ей, подкормить. Умерла Евгения Александровна в середине пятидесятых, в тех же Сокольниках в деревянном домишке, превращенном в коммунальную квартиру. Мы несколько раз ее навещали, она лежала в крохотной каморке возле кухни на железной койке, иначе не назовешь; рядом два-три колченогих стула, стол и обшарпанный шкаф.

В той же мере, в какой не похожи были друг на друга обитатели квартиры, отличалось и убранство их комнат. У Бубы сохранилось довольно много старинной мебели, на диван иногда водружали огромную шкуру медведя (охотничий трофей ее мужа, — до революции он был председателем Московского охотничьего клуба), с головы которого я съезжала как с горки. Обязательная, как у всех бабушек, домашняя аптечка (специальный маленький шкафчик, вешающийся на стену). На стенах фотографии и две или три картины, одну гравюру я особенно хорошо запомнила: дочь фараона вынимает из корзины маленького Моисея — увидев ее в современном издании «Толковой библии», я обрадовалась ей, как старой знакомой. Когда я болела, мама относила меня к Бубе, и та развлекала меня или рассказывая о жизни в имении, или объясняя содержание картин, чаще всего обращаясь именно к этой гравюре. Буба же в первый раз отвела меня в церковь на Никитской, тогда еще действующую, а потом на долгие годы закрытую; мне было не больше трех лет, и запомнились только мерцающие в полумраке

огоньки.

В Бубиной же комнате меня крестили. Мама назвала меня в честь крестной матери, Анастасии Евграфов- ны Архангельской, с которой очень дружила, и в честь любимой героини Достоевского, но главное потому, что в переводе с греческого оно означает «воскресенье». Анастасий в моем поколении почти не встречалось, ни в группе, ни в школе, ни в университете я не столкнулась ни с одной тезкой. Насти, Даши, Лизы появились в большом количестве в конце 50-х, начале 60-х. А тогда было много Наташ, Татьян, Тамар или Эльвир и Элеонор, так же, как среди мальчиков Эдиков и Руди- ков. После того, как прославился Чкалов, Валеры просто посыпались, а уж сколько верноподданных родителей нарекли своих дочерей Светланами, и сказать трудно.

У Анны Петровны, кроме железной кровати, крохотного столика и обшарпанного шкафа, из-за недостатка места помещавшегося в коридоре, вообще ничего не имелось. В комнате, где жила семья Володи, все было иначе. Тюль на окнах, на кроватях с никелированными спинками, салфетки и салфеточки, искусственные цветы на комоде, бамбуковая этажерка и поразившая мое воображение белая фарфоровая плевательница, — ни в одном доме мне не приходилось встречаться с подобным предметом. Наша половина (комната деда и наша с дядиной, превращенная в две из одной большой) раньше предназначалась для господ и была отделена от другой части квартиры передней и коридором, куда выходили остальные комнаты. У нас были паркетные полы, а в другой половине — дощатые. Существовала ванная комната, но без колонки и раковины; там стояла оцинкованная ванна, которую невозможно было дочиста отмыть, поэтому мылись стоя, поставив перед собой табуретку с тазом и ведра с водой. Рядом с уборной находилась маленькая кладовка, узурпированная кем-то из жильцов — на ее двери и рядом на стенке висели бесчисленные корыта и окоренки, из-за которых зачастую возникали недоразумения, если кто-то по ошибке брал не свою вещь. Чуть ли не половину кухни занимала огромная плита, топившаяся только в случае большой стирки или уборки. Из кухни вела дверь на черный ход, а под окном — стенной шкаф во всю толщину стены, им пользовались как холодильником, — роскошь, которой тогда и в помине не было. В кухне не только готовили, каждый на своем столе, но и стирали. Если белья было немного, то сушили его тоже в кухне, а иной раз на чердаке. К деду приходила стирать желщина, работавшая у него еще в лечебнице. Ее так все и звали Катя-прачка. До сих пор вижу ее изъеденные стиркой руки.

Наша комната так же, как и дедовская и маминого брата,

была обставлена более чем скромно. Вместо кровати — тахта, или попросту матрас с подложенными кирпичами вместо ножек. Обеденного стола у нас вообще долго не было, и мы ели за детским столиком, пока хозяйственная Надя не догадалась отпилить массивную ножку от маминого рабочего. К ней приладили верх из прессованной фанеры, — так возник настоящий круглый обеденный стол, а к маминому приколотили какие-то дощечки.

На стенах — черно-белые репродукции Сикстинской Мадонны, Владимирской Божьей Матери и рублевской Троицы, несколько акварелей Волошина и полки для книг — обыкновенные проморенные доски, подвешенные на шнурах, небольшой книжный шкаф и совсем простой платяной. Так выглядели комнаты очень многих людей того же круга.

У деда — ни Мадонн, ни икон, — врач, и, как многие того же поколения, — атеист.

Правда, перед смертью маму (она дежурила у него в больнице) перекрестил и благословил. Над диваном огромный портрет моей бабушки, Александры Владимировны, и на бюро бронзовые фигурки Мицкевича и Костюшко. Бабушка — знаю по маминым рассказам и сохранившимся письмам — была глубоко верующая, и по ее же настоянию и маму и брата крестили в православную, а не католическую веру. В комнате ее старшей сестры, Клавдии Владимировны, которую и мама и я очень любили и часто навещали, я с детства подолгу простаивала перед киотом, — ни у кого другого из многочисленных родственников и знакомых ки- отов я не видела, иконы — да, и если бы не Клавдия Владимировна, представляла бы себе их только по литературе.

Мама была большая рукодельница и всячески старалась придать нашей комнате уютный вид. На окнах — занавески из сурового полотна, вышитые ею. несколько пестрых подушек на тахте и, конечно же, оранжевый абажур (в конце сороковых годов у Райки- па был даже номер, посвященный оранжевым абажурам), сменивший бумажные, которые делала мамина подруга Наталия Александровна [6], дочь композитора Кастальского. В юности она была «босоножкой», занималась у Айседоры Дункан, а теперь зарабатывала себе на жизнь, расписывая абажуры, пока во время войны, когда стали заигрывать с церковью, ей не удалось добиться пенсии за отца, а до этого нельзя было даже напомнить, что он писал духовную музыку. Эти абажуры расписывали на промасленной ватмановской бумаге, гофрировали, — получалось очень красиво, но, к сожалению, они быстро прогорали. Среди маминых друзей было несколько таких художников-оформителей, как это тогда называлось, но уже довольно давно их стали

именовать не слишком вразумительным, но прочно вошедшим в обиход словом «дизайнеры». И это, как мне кажется, не простое заимствование, — кому- то в нем чудится больший престиж, а на самом деле — претенциозность. Та же Наталья Александровна отвела меня к художнику-анималисту Ватагину, с которым дружила. Я долго рассматривала шкафчик с разными диковинками: чучелом колибри, какими-то ракушками, фигурками животных. Его рисунков зверей не запомнила, хотя дома в книжках, кажется, «Маугли» у меня они были, а большие пейзажи маслом с любимыми березами в золотых рамах меня поразили, до этого я видела «настоящие» картины только в Третьяковке. Хотя у некоторых маминых подруг висели акварели, рисунки, гравюры, но они воспринимались как часть комнатной обстановки.

Летом 37-го года мы поехали в дачный поселок Свистуха по Савеловской дороге — одно из красивейших мест Подмосковья, и я бесконечно благодарна маме за то, что, оказавшись там в пять лет, я на всю жизнь прониклась любовью к среднерусской природе с ее березами и ветлами, полями и лугами, ландышами и васильками, реками, заросшими кувшинками, одним словом, к этому «тайнику вселенной». Добирались мы туда на открытом грузовике, я с Надей и кошкой в кабине, а мама в кузове на вещах. В дороге нас застигла гроза с проливным дождем. Немного не доехав до места, мы застряли на размокшей дороге. Пришлось маме, а уже стемнело, идти в деревню и просить мужиков о помощи. Подложили слеги и, наконец, промокшие и продрогшие, мы отыскали дачу, перебудив хозяев, Татьяну Михайловну и Василия Васильевича Толоконниковых. Татьяна Михайловна усадила меня на диван, укутала одеялами и дала книжки, которые я разглядывала, пока мама с Надей разгружали вещи и устраивались на ночь. На следующий же день я перезнакомилась со всеми ребятами, жившими по соседству. Я была самой младшей, но меня сразу приняли в большую компанию детей самых разных возрастов. Мы одни отправлялись в далекие прогулки и за цветами, и за ягодами, за орехами и грибами, хотя у ребят с языка не сходило «страшное» слово каналь- щики. В это время заканчивали строительство канала Москва-Волга, пролегавшего поблизости.

А когда канал был готов, те же строите- ли-канальщики вдоль откосов на сотни и сотни километров выкладывали белыми камнями «Спасибо, спасибо… Великому…». Ребята, напичканные всякими слухами, боялись встретиться с ними в лесу. Разве знали тогда дети, да и не только дети, кто строил каналы, и можно ли было встретить этих строителей в лесу. Тогда, может, и правда не

все знали, но вот совсем недавно я опять оказалась в тех местах и вижу: по каналу, как ни в чем не бывало, гордо выплывает «Феликс Дзержинский» (в 1999-м!); да, «с белых яблонь дым» проходит, а вот власть Советов? «Ты проходишь, власть Советов, словно с белых яблонь дым», — не рано ли сказано?

Как во все времена пытались — всегда безуспешно — выкормить выпавших птенчиков, а вот ежонка — удалось. У нашей хозяйки в Свистухе окотилась кошка, и я упросила маму оставить мне котенка, а тут еще деревенские мальчишки притащили из лесу ежат и предлагали за рубль штука дачникам. Мы тоже купили, из блюдца он еще не ел, тогда сунули его кошке, тот сложил иголки, начал сосать, кошка пыталась даже его вылизывать и преспокойно выкормила обоих. Случай, по-моему, единственный в мире животных, но об этом надо писать Дроздову, а не здесь.

Мы не только гуляли, но и много играли. Помню, что с одной девочкой мы часто играли в «Принцессу Турандот», ни она, ни я этого спектакля не видели, и сами смутно представляли, что именно мы изображаем, но эти слова носились воздухе и долго еще будоражили Москву, даже после того, как спектакль сняли. Когда почти через 25 лет мы с мамой и дочкой отправились на возобновленную «Турандот», и одновременно с раздвигающимся занавесом раздались звуки знаменитого, но никогда мною прежде не слышанного вальса, у меня чуть не защипало в носу. И все же, будучи старше, я поражалась, как можно было в 22 году, «во дни мытарств, во времена немыслимого быта», когда сажали, расстреливали, ссылали, хорошо, если на Запад, ставить «Турандот».

Обитатели поселка были старожилами и хорошо знали друг друга. Среди них были актеры, музыканты, преподаватели, врачи — в меру, но все же, за редкими исключениями, советсконастроенные люди. Всех их объединяла истинная любовь к природе. Ведь не говоря уже об отсутствии каких бы то ни было удобств не только в Свистухе, но и в дачном поселке, где не было даже электричества (рожь тоже молотили цепами вручную), — великая электрификация всей страны не коснулась такого захолустья, как подмосковные деревни, а все продукты приходилось везти из Москвы и тащить на себе пять с лишним километров от станции Влахернская, переименованной позднее в Турист. Была и компания молодежи. По вечерам с террас слышалось танго «Листья падают с клена», между прочим, гораздо больше всеми любимое, чем «Утомленное солнце» на тот же мотив. Еще непрестанно разносились по округе «Люба, Любушка» и шульженковская «Челита». Из мальчиков этой

компании никто не вернулся с войны. А мы распевали «Лейся, песня» и «Катюшу».

По утрам дачники заслушивались звуками пастушьего рожка. Желая угодить почитателям своего искусства и в надежде получить небольшое вознаграждение, пастух специально задерживался у калиток. Этот пастуший рожок, чаепития с самоваром, скатерти, еще не вытесненные клеенками, шезлонги, плетеная мебель, как это ни покажется странным, сохранили в некоторой степени, невзирая на то, что «нашу родину буря сожгла», на все разрушения, ужасы и потрясения, длившиеся не десять дней, — десятилетия, а казалось, что и века, черточки дореволюционного уклада жизни. На нашем участке был теннисный корт, куда по вечерам приходили поиграть и посмотреть на игру. По требованию Василия Васильевича все должны были быть в белом. У него же был замечательный цветник. На цветы, как и на все остальное, моды меняются; остались извечные сирень, жасмин, флоксы, гвоздика, а табаки, петунии, левкои, матиолы, резеда, без которых не обходилась ни одна клумба, неяркие и неброские, но ценимые за запах («и пахнет сырой резедой горизонт», или у того же Пастернака «… метель полночных матиол») — теперь уже не встретишь.

У евистушинских дам была своя мода — на кубовые платья. Они ходили по деревням и разыскивали в сундуках у старух кубовые темно-синие, с красными цветами старинные сарафаны, которые те с радостью продавали или меняли на ситец. Дамы их перешивали и получались в самом деле необыкновенно красиво, узоры на них никогда не повторялись, — их, очевидно, набивали вручную. Мама тоже раздобыла себе такой сарафан. Она вообще любила деревенскую утварь и самих крестьян, со многими из которых дружила, когда в дальнейшем мы стали селиться на лето не в поселке, а в самой Свистухе, ставшей родным местом. Даже со своим именем мама примирилась только после того, как встретила в Свистухе крестьянку Марину, а до того оно казалось ей слишком вычурным. Позже я жила там со своими детьми, а с внуками мы нередко ездили туда просто погулять. И сейчас я бы с радостью побродила среди тамошних цветов «меж колосьев и трав».

В том же 37 году мама отдала меня в детскую группу. Она была несколько иного свойства, чем другие, которых в те годы развелось довольно много. Пять-шесть детей собирали в квартире попросторнее, где с ними занимались иностранным языком, чаще французским. Там же они съедали завтраки, принесенные из дома, потом гуляли на бульваре и к середине дня возвращались домой. Наша группа походила больше на детский сад, только

частный. Руководительница, Вера Филипповна Чернявская, занимала двухкомнатную квартиру в нижнем этаже бывшего особняка в Афанасьевском переулке. Нас приводили туда к десяти и забирали в пять. Мы гуляли с немкой, Александрой Эдуардовной, обучавшей нас немецкому, потом обедали (повариха Груша, которую мы очень любили, необыкновенно вкусно готовила), перед обедом всем полагалось проглотить рыбий жир, после обеда нас укладывали отдыхать, а Вера Филипповна читала нам в это время вслух «Маленького оборвыша», того же Гайдара, трудно проговариваемых и трудно перевариваемых «Трех толстяков», глупую Почемучку Житкова («Что я видел»), — я ни разу в жизни не слышала, чтобы дети в такой форме задавали вопросы: «А почему мы?… А почему вокзал?… А почему поезд» и т. д. (Карлсон к нам не прилетал, но такая была погода, наверное, нелетная). Ну и конечно «Ребята и зверята» и «Аска- ния-Нова, она же Остров в степи» Перовской, невыносимо советские, написанные чудовищным не языком — советскими штампами. И все равно нравилось, — нельзя же было удовлетворить всегдашнюю детскую любовь к животным одной Каштанкой и Сетоном-Том- псоном, а его и достать было нелегко, у меня, например, своего в детстве так и не было, так же как Брэма и Фабра, все это приходилось позднее брать в библиотеках. Потом был полдник, опять прогулка, и так до пяти.

После того как преподавание немецкого в связи с ухудшением отношений с Германией запретили, та же Александра Эдуардовна продолжала с нами гулять и заниматься всяким рукоделием. Но до этого она успела поставить Красную Шапочку на немецком, а из книг чаще всего читала «Макса и Морица» Буша. Были у нас и уроки ритмики, а в семь лет нас начали учить письму и арифметике, практически проходя программу первого класса школы, так что многие поступали сразу во второй. На елку и на майские и октябрьские праздники мы готовили выступления, на которые приглашались родители. Мы пели, танцевали, читали стихи, не обходясь, разумеется, без обязательных «и сам товарищ Сталин в шинели боевой, и сам товарищ Сталин кивнул нам головой» и «Щорс под красным знаменем». Не помню уж откуда у меня взялся костюм

Красной Шапочки, но вообще все костюмы должны были доставать или делать сами родители. И все та же Надя шила для меня то пачку из марли, то костюм зайца с настоящим хвостом из дядиных охотничьих трофеев.

У меня были друзья и подруги, с которыми мы общались и помимо группы, а с Верой Филипповной сохранились близкие отношения до самой ее смерти. Платить за наше пребывание в

группе приходилось не дешево, так что мама не разгибалась над машинкой, и я помню, что она ворчала на то. что после отмены немецкого цена осталась прежней. На день рождения В.Ф. мы дарили ей подарки, — чаще всего духи или одеколон. Было два сорта самых распространенных духов: «Эллада» и «В полет», не считая «Красной Москвы», но та была дорогой и покупалась немногими. Магазины, где продавали духи и другую парфюмерию, назывались ТЭЖЭ. Как-то на мое рожденье у нас собрались мамины друзья и мой детский приятель, племянник одной из подруг. Его отец был арестован, мать металась между Москвой и Ленинградом, где они раньше жили, а Алеша чаще всего живал у тетки, а иногда гостил у нас. На следующий день мама обнаружила на полке с книгами маленький «пробный» флакон духов. Она обзвонила всех, кто был накануне, думая, что кто-то его случайно забыл, и выяснилось, что это принес мне в подарок Алеша, но постеснялся отдать в руки. Я была горда, что в пять лет мой друг преподнес мне, как большой, духи. А когда я начала ходить в группу, на рожденье, как я уже сказала, стали собираться мои новые друзья.

Лето 38-го и 39-го мы провели в Коктебеле. В Феодосии задержались на несколько дней у маминых теток. Мне очень понравился каменный дом, увитый виноградом, часть которого они занимали с тенистым фруктовым садом. Но самым большим удовольствием было ходить с ними по вечерам в «центр», где принарядившиеся дамы прохаживались по аллеям из пирамидальных тополей и поглядывали на фланировавших там же моряков. Эти гулянья происходили каждый вечер, и не знаю, как другие феодосийцы, но мамины тетки никогда не пропускали этот, Бог знает когда установленный, ритуал. Когда мы, наконец, с тяжелыми чемоданами на автобусе добрались до Коктебеля, первое, что я спросила: «А где здесь центр?», немало насмешив этим маму.

Первый год мы снимали комнату у болгар, а следующий у татар. И у тех, и у других были белые дома, крытые черепицей. Полы время от времени смазывались кизяком, замешанным на глине. Веники делали из полыни. В татарских домах на полу лежали сенники со множеством маленьких подушек и стояли низенькие круглые столики, за которыми ели, сидя на сенниках или на полу. Участки окружали невысокие глинобитные или сложенные из камней заборы, а то и просто изгороди из переплетенных колючих веток. В огородах росла кукуруза, арбузы, дыни, баклажаны, помидоры. Виноград разводили на склонах гор. В садах были вырыты пруды — ставки, из которых брали воду для поливки и для других хозяйственных нужд,

питьевую приносили из источника — кринички у подножья холма, примерно в полутора километрах от деревни. Я томилась от жары, теплое море не охлаждало, в горы мне было ходить еще трудно, а бродить по холмам скучно, хотя на них очень красиво цвели каперсы, но они не заменяли мне подмосковных цветов и зелени, без которых я очень тосковала. Самым большим развлечением было отправляться с хозяйскими детьми на виноградники. Один был на Сююрю-кае, а другой на Кок-кае. Мы проводили там целые вечера, рвали виноград, играли в шалаше, а на обратном пути набирали в источнике воды, чтобы принести домой. В том же доме вторую половину лета жили недавно вернувшиеся из эмиграции Билибин с женой. Обедать за одним столом с живым художником, знакомым по открыткам и иллюстрациям к сказкам, было, как сказали бы теперь мои внуки, просто круто. Каждый вечер, чуть ли не целый месяц, он отправлялся с мольбертом в Лягушиную бухту и потом показывал свой пейзаж — кусок скалы на фоне моря. Нам очень нравилось, и хотя мне и, по-моему, маме казалось, что картина давно закончена, он все ходил и продолжал наносить мельчайшие мазки. А меня еще страшно поразила крошечная расческа у его жены. «Это игрушечная?» — «Нет, чтобы причесывать брови, я привезла ее из Парижа». «Ну и ну!» — подумала я про себя, и не то чтобы сформулировала, но в голове явно вертелось нечто похожее на «мне бы ваши заботы, господин учитель».

В деревне было много ослов, и я все мечтала найти маленькую подкову. После войны осликов, так же как и их хозяев, не осталось. Перед отъездом мама купила мне у болгар белые тапочки-тырлики из тонкого войлока, а себе — плетеные шерстяные дорожки. Хозяева нагрузили нас целой корзиной винограда. И еще мы, конечно, везли в Москву камушки: халцедоны, сердолики, яшму, называемую коктебельцами «собаками», и фернампиксы (слово, придуманное Волошиным). Слыша еще дома от мамы про красивые камушки, я представляла себе берег пестрым и разноцветным и была страшно разочарована, увидев серый «пляж из голой гальки», который позднее так полюбила. По утром мы шли на море под разносящееся из репродукторов всех домов отдыха «Утро красит…», а вечерами с территории Литфонда, когда мы пересекали его, отправляясь к М.С.Волошиной, неслось «Il pleut sur la route…». В 39-м году из-за начавшегося захвата Польши нам пришлось задержаться чуть ли не до начала октября. Поезда, как во всех подобных случаях, стали ходить нерегулярно, и достать билеты было невозможно. В конце концов нам удалось уехать в общем вагоне, мы с мамой кое-как пристроились на одной полке,

а ведь тогда поезда из Крыма тащились двое суток.

На следующий год я должна была поступать в школу, но в конце лета (последнего предвоенного), которое мы опять проводили в Свистухе, я заболела. Знакомый врач, осмотрев меня, определил ангину, но на всякий случай велел послать мазок в Дмитров. Анализ ничего не показал, а мне становилось все хуже, я задыхалась, не могла глотать, и бедная мама только молилась. К этому времени все дачники разъехались. Надя жила у себя в деревне, так что мама была со мной совсем одна. Когда немного спала температура, не опускавшаяся до этого ниже сорока, она наняла телегу до станции. В Москве сразу же пришел доктор, лечивший меня с раннего детства, и только заглянув в горло, не дожидаясь анализа, немедленно отправил в Молча- новскую клинику на Девичьем поле. У меня оказался тяжелый, запущенный дифтерит, и мама не находила себе места от волнения еще и потому, что бабушка умерла от этой болезни. Всю первую ночь рядом со мной на соседней кроватке метался мальчик, он просил пить и звал маму, под утро его отнесли в изолятор, на следующий день я узнала от сестры, что он умер. Это была первая увиденная вблизи смерть. За проведенное в больнице время я перезнакомилась и подружилась со всеми, но ничьих имен — ни детей, ни врачей, ни сестер. — не могу припомнить. Имя этого мальчика, которого видела всего несколько часов, помню до сих пор — Юра. и его сухие горящие глаза — «Два смертных глаза» (Цветаева иногда бывает удивительно точна).

Мне сразу же начали вливать сыворотку, и через несколько дней стало намного легче, но я еще месяца два пробыла в больнице. Поначалу очень тосковала по маме и дому, но довольно скоро освоилась и подружилась со всеми ребятами в палате. Мы, хоть и были лежачие, умудрялись не только болтать, но играть и даже объясняться в любви. Врачи и сестры относились к нам на редкость внимательно, и вся обстановка была какая-то домашняя. В теплые дни, закутанных в одеяла, нас выносили в сад. Мама приходила каждый день справляться обо мне, передавала записки, цветы, фрукты, игрушки и подолгу стояла перед окном (мы были на первом этаже), показывая мне листы с крупными рисунками, изображавшими всевозможные приключения и проделки моего кота, молочного брата ежонка. Эти рисунки веселили не только меня, но и всю палату. После того, как меня выписали, мне еще долго нельзя было бегать и подниматься по лестнице из-за осложнения на сердце, так что в школу я пошла только со второго полугодия. Это был 41-й год, и с началом войны кончилось детство.

III. Картинки из жизни военных лет

Летом 41-го года мы опять жили по Савеловской железной дороге, в деревне Свистухе, в пяти километрах от станции Турист. Наша изба была крайняя, и с крылечка открывался изумительный вид на Яхромское водохранилище, на противоположный крутой берег и на поля и лес на нашей стороне. Мама всегда обожала ковыряться в земле — хотя своего клочка не было никогда — и чего только не было понатыкано в палисаднике: и садовые, и пересаженные лесные и полевые, — не удивительно, что все проходившие мимо на них заглядывались. Так и воскресным утром 22 июня мы отправились в поле выкапывать ромашки и мамины любимые гусаровы шпоры. Возвращаясь домой, мы услышали громкие голоса, плач, на деревенской улице толпился народ — была объявлена война.

Не помню точно впечатлений первых дней. Продолжала жить своей детской жизнью. Вспоминается какое-то собрание на поляне у дачного поселка, где объясняли, как нужно обращаться с противогазом и тушить зажигательные бомбы. Ярко запомнилась первая бомбежка Москвы, — мы находились от нее в шестидесяти километрах, но все равно отлично было видно огромное зарево и шарящие в небе желтовато- белые полосы прожекторов. Крестьяне и дачники собрались на краю деревни и долго не расходились, а вдоль канала и железной дороги — это были хорошие ориентиры — летели и летели немецкие бомбардировщики.

Дети постарше разговаривали о войне, а среди взрослых царили самые разные настроения и опасения, — мать моей подружки не знала куда бы спрятать свой партбилет.

Мхатовцы шептали на ухо друг другу: «Сталин-Ста- лин Сралин-Сралин, нету сытных обедов, нету теплых домов». Народных артистов, особенно на кремлевских приемах, кормили, конечно, сытно, а стране голодать было не привыкать. Да и выражено было уж очень грубо и примитивно, — на уровне анекдотов моих деревенских подружек.

Мама, как всегда быстро принимавшая решения, начала работать в колхозе. Об эвакуации и думать не хотела, а тем более чтобы отправлять меня куда-нибудь одну.

Как-то еще летом рядом с нашей деревней расположилась на ночь воинская часть. Ребята на перебой предлагали свою помощь. Приносили воду, угощали, чем могли, а одни наши друзья, уже немолодые муж и жена, — оба их сына были на фронте, — не отходили от солдат и старались хоть что-то для них сделать, думая наверное, что и их мальчикам вот так кто-нибудь помогает.

Раз в неделю мы с мамой ездили в Москву и забирали хлеб, который получала для нас по карточкам мамина подруга, Елена Владимировна Романова, а мама перевозила все, что только можно было на себе увезти, из дома на дачу, опасаясь, что дом могут разбомбить. Из-за этого, вернувшись в Москву, мы оказались решительно без всего самого необходимого, но об этом позже. Помню, что первое время на большое количество хлебных талонов можно было купить, например, торт, что мы иногда и делали, но так было только в самом начале. А уже очень скоро в магазинах стало пусто. Тогда в Москве любили повторять: «Еще ничего нет, а уже ничего нет. Что же будет, когда что-нибудь будет?»

Итак, мама трудилась в колхозе, я иногда ей помогала, когда надо было полоть гряды и продергивать морковь; выдернутую морковь уносили домой, а когда стали рыть картошку, то тоже немного, как и все, брали с собой в корзинках. Больше всего мама гордилась тем, что научилась косить не хуже крестьян и вообще ей очень нравилось работать в поле, только не было подходящей одежды и обуви. И еще страдала от отсутствия папирос, пока старики не научили ее курить вишневый лист. А вот искусством выпекать хлеб в русской печи она так и не овладела, и когда сообщение с Москвой было прервано, нам пекла хлеб из ржаной муки наша старая хозяйка Татьяна Леонтьевна. Он получался большой, квадратный, с выдавленным в середине крестом, необыкновенно душистый и вкусный.

Снег в тот год выпал очень рано, в сентябре. На всю жизнь я запомнила золотые березы, а под ногами белый ковер, — в этом было что-то траурное и зловещее.

Опасаясь, что Москву ожидает та же участь, что и Ленинград, мама решила остаться в деревне. Прокормиться мы могли, — на мамины трудодни мы получили несколько мешков картошки, капусту и другие овощи и даже зерно, знакомые крестьяне смололи его для нас вместе со своим. Нарезанная тонкими кружочками и высушенная на противне в протопленной печи морковь получалась сладковатая и заменяла конфеты. Кроме того, удалось насушить много грибов, — лето выдалось грибное, и мы часто отправлялись за ними в дальний лес. В погребе еще оставался большой запас керосина. Электричества, как я уже говорила, в деревнях не было, — по вечерам зажигали керосиновые лампы, а летом и готовили на примусе или керосинке. Необходимо было запасти дров на всю зиму, — каждый день мы ходили в лес с пилами и топориками и валили деревья, главным образом березы и ели. не слишком толстые, иначе это было бы нам не под силу, а я ужасно боялась: вдруг

поймает лесник. Дома их сами распиливали и кололи, и успели наготовить дров еще до глубокого снега.

Дачники разъехались, за исключением двух, трех семейств, решивших тоже остаться в Свистухе. Вечерами мне становилось особенно тоскливо. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, я принималась рассматривать альбом с открытками Третьяковской галереи — я начала их собирать еще до войны — мама вязала или штопала, но Шишкин и Левитан не очень утешали, и я то и дело смахивала невольно набегавшие слезы, надеясь, что мама этого не замечает. Конечно же, мама замечала все, сама же, прекрасно сознавая опасность положения (еще в октябре писала своим друзьям: «…если узнаете, что меня нет, а Настя осталась жива, разыщите ее…»), держалась на редкость мужественно.

16 октября мы по обыкновению, как это делали каждую неделю, поехали в Москву за хлебом. Сойдя с поезда, сразу у вокзала почувствовали что-то неладное. Трамваи не ходили, и мы двинулись через всю Москву пешком. На улицах пахло гарью, всюду летели, подгоняемые ветром, обгорелые клочья бумаги. Мы пришли не домой, а на Арбат во Власьевский переулок, где жили мамины друзья Е.В.Романова с мужем Владимиром Александровичем Давыдовым, сыном известнейшего в Петербурге исполнителя цыганских романсов, и матерью, покупавшие для нас хлеб. Все говорили, что Москва в этот день будет сдана. Носились бесконечные слухи: где-то бесплатно раздают муку, где-то что-то грабят. Ждали, что по радио выступит Сталин. Потом сообщили, что будет говорить какой-то, если не ошибаюсь, Пронин. Но радио молчало. Взрослые сидели дома, а мы, дети, торчали целый день во дворе у громкоговорителя, промерзшие до посинения. Никакого выступления так и не последовало. Вечером никто не раздевался и не ложился спать. В который раз перед мамой вставал мучительный вопрос: если придут немцы, признаваться или скрывать знание немецкого? И опять говорила о том же с подругой. Если не переводчицей, то как еще зарабатывать, и не потому, что боялась пусть даже самой тяжелой физической работы, но если угонят, что тогда будет со мной, на кого оставить, бросить? А если все-таки переводчицей… Когда снова придут наши, то что тогда!? Ночью стало слышно, что по Арбату двигаются танки. Все были уверены, что это немцы, только утром выяснилось, что через город прошли сибирские войска. Москва не была взята. На следующий день мы уехали обратно в Свистуху.

Не могу точно вспомнить, в каком это было месяце. Нас разбудил среди ночи громкий стук в дверь. Это была пришедшая на постой армейская часть. В дальнейшем такое стало

повторяться каждую ночь. Хмурые, измученные, с испуганными лицами солдаты все спрашивали: «А "он" (немец) близко?». Немцы уже были на другом берегу водохранилища, в Яхроме, следующей станции за Туристом, в пяти километрах от нас. Железнодорожный мост взорвали. Поезда по Савеловской дороге больше не ходили. В канале спустили воду так, что лед перекорежился и встал торчком, получились естественные баррикады, и немецкие танки не могли через них пройти. Русский штаб и артиллерия находились в двух километрах за нами, в деревне Кузяево. Практически мы оказались в полосе огня. Снаряды летали через нас. К этому трудно было привыкнуть. Особенно страшно было ходить за водой на родник под обрывом у самого берега, — в деревне колодца с питьевой водой не было. Идешь и каждый раз, как летит снаряд, невольно пригибаешься. От этого невозможно было отучиться. Утром, если стихала перестрелка, мальчишки подбирали на льду так называемые «стаканы» от артиллерийский снарядов. А на том берегу, в лесу, оставалась наша зенитка, и мы с мамой все прислушивались: стреляет, — значит живы зенитчики. Ие знаю, сколько они там продержались.

На шоссе то и дело встречались обозы с ранеными, их везли в телегах по разбитой ухабистой дороге, ничем не прикрытых. При виде их искаженных страданием лиц у меня сжималось сердце.

Мне хотелось в Москву, где можно было укрыться в бомбоубежище, а мама говорила, что предпочитает видеть, как на нее падает бомба.

С самолетов немцы сбрасывали не только бомбы, но и листовки. Чаще всего такие: «Ничего не бойтесь! Мы освободим вас от колхозов и большевиков». Как-то я подобрала одну листовку и принесла домой, возможно чтобы не только показать маме, но и сохранить. Мама немедленно вырвала ее у меня из рук и бросила в печку, запретив мне впредь их подбирать.

Еще раньше стали появляться беженцы, их было немного — семьи коммунистов. Они рассказывали, что когда немцы занимали деревни и другие населенные пункты, то объявляли жителям, что все желающие в течение трех суток могут уходить. А остающиеся крестьяне совершенно равнодушно относились к возможному приходу немцев, говоря: «Хучь бы пес, лишь бы яйца нес».

Это уже в Москве я услышала рассказ: приходят в дом немцы, играют с девочкой, угощают шоколадом, вдруг спрашивают: — А где твой папа? — Папа бьет фашистов. — Девочку хватают за ноги и головой об стенку.

С каждым днем становилось все тревожнее. Я рвалась в

Москву, а мама хотела оставаться в Свистухе. Но вот однажды нашу соседку ранило осколком (до этого, к счастью, никто не пострадал, хотя, кроме артиллерийской перестрелки то и дело бомбили), ее три дня возили по окрестным деревням в поисках медицинской помощи, но так ничего и не смогли добиться. До старости она прожила с тем осколком. Этот случай поколебал мамину решимость. Вскоре после этого в Свистуху, как обычно, пришли на постой солдаты. Офицеров поместили в дом наших соседей. Валял, — хозяин валял валенки. Их семья была самой зажиточной в деревне. Мы с ними дружили и часто проводили у них вечера. Так было и в этот раз. Мама разговорилась с офицерами. Они оказались артиллеристами, вполне интеллигентными людьми. Мама спросила одного из них: «Как Вы думаете, придут сюда немцы?» «Конечно же нет», — стал он заверять ее. Тогда мама поставила вопрос иначе: «А если бы я была Вашей женой, что бы вы мне сказали, оставаться здесь или уходить в Москву?» Тот ответил, что посоветовал бы уходить.

На наше счастье, в это же время решила двинуться в Москву еще одна знакомая семья, — муж, жена и сын, подросток. Вряд ли бы нам удалось добраться без них. Мы надели на себя по две пары белья, увязали на детские санки, завернув предварительно в плед, немного сахара, остававшегося от летних запасов, банку варенья, сухой компот и моего любимого мехового мишку. Был декабрь. Морозы стояли лютые. Так начался наш путь пешком в Москву, вернее в сторону Ярославской дороги, по которой ходили поезда. Идти было холодно: настоящих валенок ни у меня, ни у мамы не было, только фетровые, и тонкие варежки. В первый день пройдя километров двадцать-двадцать пять, заночевали в деревне Хлыбы. Мы с мамой устроились на узкой лавке, подстелив под себя пальто, а на полу спали солдаты. Утром тронулись дальше. Примерно в двадцати километрах от станции Хотьково, куда мы направлялись, нас подсадил армейский обоз. Солдаты закидали нас сеном, но толку от этого было мало, — дул пронизывающий ветер, и, хотя мама укутала мне голову платком, я обморозила себе лицо, потому что все время поворачивалась и смотрела вперед на дорогу. В Хотьково добрались к вечеру и пошли на станцию ждать поезда. Но тут началась бомбежка, бомбы взрывались совсем рядом, мне казалось, что страха я не испытываю, только крепче сжала мамину руку и спросила: «Мам, почему у меня дрожат коленки?» Что же при этом должна была чувствовать она! Были ли повреждены пути, не знаю, но поезд отменили. Пришлось отправиться на поиски ночлега. Здесь не видели беженцев и нам удивлялись, но все-таки пустили в один дом. Хозяйка даже уступила мне с мамой свою кровать, а сама

легла на полу. Рано утром мы уже были на станции. Из-за невероятной очереди и давки купить билеты было невозможно. А когда подали поезд, посадка была такая, что если бы не наши друзья, среди которых были мужчины, как я уже говорила, мы бы никогда не сели, да еще с санками. Весь путь до Москвы простояли в до отказа набитом тамбуре, а я всю дорогу дрожала: что, если нас ссадят как «зайцев».

Домой шли пешком. Дверь нам открыла родственница моей тети, взглянув на маму, она только проговорила: «Несчастная женщина». Москва была холодная, голодная и темная, — на окнах затемнение, фонари не зажигались. Мама сразу же попробовала устроиться в артель, где вязали для фронта варежки с двумя пальцами, чтобы нажимать курок винтовки или автомата. Их делали из белой, тонкой, хлопчатобумажной пряжи. (Кого они могли согреть?) Мама всегда

4 Заказ № 455 быстро и хорошо вязала, но тут норма была так велика, что она не могла ее выполнить, и ей пришлось уйти из артели. По карточкам, кроме хлеба и яичного порошка, ничего не давали. Не знаю, откуда у мамы оставалось немного денег, еще нам помогала моя тетя, получавшая за мужа аттестат. Приходилось как-то выкручиваться: рядом с нами находился Военторг, куда пускали только офицеров. Там продавали кое-что из одежды, как например, недорогие хлопчатобумажные цветастые платки на голову, пользовавшиеся большим спросом, — на рынке на них можно было выменять картошку или молоко. Мама и тетя то и дело отправлялись к магазину и прохаживались поблизости, пока какой-нибудь военный не соглашался их провести. Легче всего это удавалось тетиной невестке — она была очень красивая. Ее приятель иногда приносил сахарин, он горчил, но нам. детям, вполне заменял сахар.

То, что мы ушли из Свистухи, оказалось Перстом Божиим. На следующий день после нашего ухода, как стало известно позднее, два немецких бомбардировщика, спасаясь от советских истребителей, сбросили весь груз на деревню. Каким-то чудом никто из жителей не был убит и ни один дом не был разрушен, но одна бомба попала в наш погреб, и волной от взрыва разворотило избу. Нам негде было бы жить, а хозяйка переселилась к родственникам. Все оставленные вещи разворовали, и, когда через год или два в Москву приехала моя няня, Надя и, отправившись в Свистуху, стала ходить по домам, разыскивая наше имущество, кое-что ей удалось найти и забрать. Иногда это были уже какие-то детские капоры или шарфики, связанные из маминых вещей. Все добытое таким образом Надей нам очень

пригодилось. Но больше всего я оплакивала своего любимого кота, его пришлось бросить, правда, мы оставили на его пропитание Татьяне Леонтьевне два больших сенника, набитых сухарями, но он все-таки пропал или погиб после того, как нашей хозяйке пришлось уйти из дома.

А в деревне еще долго вспоминали, как мы уходили. «Помнишь, Настя, как вы с мамой в

41-м отправились пешком в Москву с котомочками», — «окая», вспоминала Тетя-Таня, когда спустя двадцать с лишним лет мы всей семьей с детьми жили у нее. Зная всех их с детства, я и взрослой, и дожив до старости называла и продолжаю называть Тетя-Феня, Тетя-Кланя, Тетя-Таня, и каждый раз, оказываясь в Свистухе, я обязательно захожу к Тете-Клане (той, что с осколком), и мы разговариваем и о детях, и о внуках, и о давлении, и о кавинтоне, вспоминаем тех, кого уже давно нет, и обязательно вспоминаем войну.

Москву бомбили каждую ночь, а часто и днем. Когда объявляли тревогу, все шли в бомбоубежище или в метро. В метро уходили с вечера и сидели там до утра. Иногда кидались туда и в дневные часы, если оказывались поблизости во время бомбежки. Нередко в таких случаях происходила давка у эскалаторов или на лестницах, люди падали, на них наступали, так что часто бывали несчастные случаи. Станцию Кировскую закрыли, поезда на ней не останавливались. Там обосновалось правительство. Она долго оставалась закрытой уже после того, как Москву перестали бомбить. Хорошо запомнилась одна бомбежка в первую зиму. Поздно вечером объявили тревогу, мы спустились в бомбоубежище, но там набилось столько народу и было так душно, что мы с семьей тети перешли в какую-то маленькую комнату, тоже в подвале. Мальчишки из бомбоубежища все время играли с дверью этой комнатушки и то запирали ее снаружи, то отпирали. Вдруг раздался такой оглушительный взрыв, что мы были уверены, что бомба попала в наш дом. Кинулись к двери, — не открывается, — то ли завалило обломками, то ли опять заперли мальчишки. Оказалось, что все-таки заперта, и, в конце концов, они нас выпустили. Бомба упала совсем недалеко, между зданием старого Университета и Манежем. Волна от нее была страшной силы: по всей Никитской вылетели оконные стекла. После этого случая мы перестали ходить в бомбоубежище. Мама решила, что лучше погибнуть от бомбы, чем быть засыпанными в подвале. Мы оставались дома, я даже не просыпалась от взрывов и пальбы зениток.

На бульварах, напоминая колоссальных рыб, лежали аэростаты. Ночью их поднимали в воздух для защи- ты'от

бомбардировщиков, чтобы изменить план города.

Дома мы прожили недолго, ведь в квартирах были голландские печи, для протопки которых требовалось много дров, а взять их было неоткуда, замерзла вода, и пришлось скитаться по родным и знакомым. Сначала мы поселились у маминого двоюродного дядюшки около Чистых Прудов. Было очень голодно. Мне мама варила или жарила на обед по одной картофелине, а сама обходилась только хлебом с кипятком. Двоюродный дед часто посылал меня на Мясницкую за хреном, — единственный продукт, продававшийся без карточек и за копейки, — он его намазывал на хлеб.

Там мы оставались недолго. Тетка чем-то обидела маму, и тогда мы перебрались во Власьевский переулок к Е.В.Романовой, о которой я уже упоминала. Я спала вместе с Еленой Владимировной на ее кровати, а мама на полу.

Иногда заходили к друзьям, жившим неподалеку на Арбате. Они переехали сюда в пустовавшую квартиру из своего дома, находившегося в одном из переулков у Смоленской площади. Дорогомиловский мост заминировали и всех, кто жил поблизости, переселили. У них можно было подкормиться; муж маминой подруги был известным преуспевающим врачом, а она сама — мастерица на все руки — без конца что-то шила и то и дело ездила в деревню, где меняла сшитые вещи на продукты. К тому же у них была ванна с газовой колонкой — роскошь, которой у нас не было даже до войны, так что можно было хорошенько вымыться, а мне еще и побарахтаться в воде. Как-то они предложили своим дочкам и мне пойти в Дом ученых посмотреть кино. Развлечений никаких не было, школы не работали, и мы с радостью отправились, тем более, что был не очень холодный солнечный день, и так весело шагалось по занесенным снегом мостовым. Показываликартину «Свинарка и Пастух». Мне исполнилось только девять лет, но уже тогда меня тошнило от невозможной пошлости и фальши. А спустя много лет я несколько раз смотрела по телевизору этот чудовищный фильм именно потому, что живо вспоминала тот солнечный день зимы 42-го года.

Весной мы вернулись к себе. В первый год войны, как я уже говорила, занятий в школах не было, так что я болталась без дела, а тут стала много времени проводить во дворе. Иногда затевались веселые интересные игры, — круговая лапта, штандар, казаки-разбойники, колдунчики, но бывали и страшные драки между мальчишками, и, конечно же, не обходилось без мерзких анекдотов. Чтобы как-то меня занять и отвлечь от двора, мама уговорила меня записаться в хореографическую студию и в

кружок художественного слова при ЦДХОДе (Центральном Доме художественного образования детей). Мне там сразу понравилось. Атмосфера царила на редкость приятная, руководители студий и кружков были представители старой интеллигенции, чудом уцелевшие. С хореографической студией нам часто приходилось выступать в самых разных местах. Больше всего мы радовались, когда перед Новым годом нас приглашали в Колонный зал или в СОВНАРКОМ, — там выдавали подарки, — кулечки с конфетами и печеньем, а то и яблоками или мандаринами, что по тем временам было неслыханной роскошью.

Hi1'

В 43-м в ЦДХОДе меня порекомендовали на пробы в Мосфильм для картины «Жила-была девочка». В студии художественного слова и в школе я много играла в спектаклях, читала на всех утренниках стихи. Однажды, когда я прочла кусок из только что написанной Алигер поэмы «Таня» (о Зое Космодемьянской), вышедший на эстраду Чуковский, прежде чем начать «А кругом все пчелы — пчелы», сказал: «Я, конечно, не умею читать так хорошо, как эта девочка». В свои десять лет эту шутку-комплимент, рассчитанную на публику, я естественно восприняла всерьез. Ну и размечталась о славе, а мама рассчитывала, — уж оченьмы бедствовали, — что хорошо заплатят. Послушали, похвалили, но не взяли, — слишком взросла и серьезна. По возрасту, по росту и по виду я подходила, даже имя как у героини фильма, но голос (мамин, — низкий) — ни разбогатеть, ни прославиться не удалось. Мама себя казнила, что отговорила меня читать детский благининский стишок про веточки и ручейки, вместо него я прочла некрасовское «О Волга, колыбель моя!» — куда уж серьезнее.

Скрашивали эту тяжелую во всех отношениях жизнь друзья, которых у мамы всегда было много, и чтение. Дома книг было мало, у нас и до войны на это не хватало денег и места, только две или три полки с любимыми поэтами да детские, которые мне уже были не интересны. Поэтому мне давали книги мамины подруги, главным образом Д.Н.Часовитина, у которой была большая библиотека. (В 43-м мама записала меня в библиотеку «Красного Креста» на Никитской, и много лет еще я брала там книги). Жила Дарья Николаевна в переулке между Остоженкой и Кропоткинской, и мы частенько к ней заглядывали. Как-то ранним летним вечером мы собрались к ней. На Арбате нас застала тревога, где-то совсем близко стали взрываться бомбы. Все, кто шел в это время по улице, стали ложиться прямо на асфальт. Прозвучал отбой, и только мы успели свернуть в переулок, как снова тревога, на этот раз пришлось укрыться в

подворотне. Такие вещи стали привычными.

Разумеется, как всегда, во всякой ситуации люди вели себя по-разному. Однажды во время дневной бомбежки мы с мамой остались почему-то совсем одни в квартире, чтобы не сидеть в полном одиночестве решили зайти к друзьям в том же доме, только в другом корпусе. Звоним, дверь распахивается и с истерическим воплем на нас накидывается муж маминой приятельницы (профессор университета), — мне и так не дают работать, а тут еще вы… — и захлопывает перед нашим носом дверь. Прошло почти 60 лет, но я до сих пор вижу на залитой солнцем лестничной площадке при несмолкаемой пальбе зениток, вое сирены и рвущихся бомбах фигуру измученной женщины, держащей за руку десятилетнюю девочку.

И еще, как-то в канун 44-го года мы с мамой были опять совсем одни. Старая няня моей двоюродной сестры, поняв, наверное, что нам должно быть грустно и одиноко, пригласила нас встретить Новый год с ней и двумя ее племянницами, и этот скромный праздничный стол с извечным винегретом, вареньем на сахарине и самодельной наливкой, а главное, ее чуткость и гостеприимство я запомнила на всю жизнь.

Осенью 42-го года открылись школы. Я пошла во второй класс 110-й школы в Мерзляковском переулке. Обычно я ходила туда пешком, но иногда ребята из нашего двора уговаривали меня ехать до Никитских Ворот на трамвае. А с транспортом было страшно тяжело. Трамваи ходили редко, и влезть в них было неимоверно трудно, на ступеньках (двери тогда не захлопывались) гроздьями висели люди. Чтобы сойти, надо было прыгать на ходу, до остановки, иначе невозможно было пробиться через толпу, осаждавшую трамваи. Один раз я спрыгнула очень неудачно, упав на одно колено, и просто чудом не попала под колеса. После этого без крайней необходимости я избегала ездить в трамваях. То же самое происходило и с загородными поездами, даже и в послевоенные годы. Иногда приходилось пропускать поезд или два, — просто не было никакой возможности втиснуться в вагон.

В моем классе так же, как и в других, оказались какие-то переростки, неизвестно откуда появившиеся и непонятно, куда потом исчезнувшие. Их боялись не только ребята, но и учителя, по вечерам они шлялись с финками по улицам целыми бандами. Особенно отличался один татарин из параллельного класса. На переменах, когда ученики подпирали стенки — бегать по коридорам не позволялось, — он прохаживался перед шеренгой ребят и бил по лицу всех мальчишек, за исключением таких же бандитов, как он сам. Никто не осмеливался дать ему сдачи, а

учителя поворачивались спиной и делали вид, что ничего не замечают.

Особенно доставалось интеллигентным мальчикам, их мучили и избивали. На большой перемене мы получали завтраки — кусок черного хлеба и полстакана тушеной, совершенно несъедобной капусты.

110-я школа еще до войны славилась, как лучшая в Москве. Многие родители стремились отдать туда своих отпрысков. А в военные и послевоенные годы там оказалось много правительственных детей. Был такой и у нас. Его привозили и отвозили на машине, — сейчас это не редкость, н > то, что тогда; в классе он уплетал бутерброды с колбасой и яблоки, что казалось остальным ребятам каким-то забытым сказочным чудом.

В ту зиму нам еще выдавали в школе настоящие тетради, но уже в следующем учебном году они исчезли, и ученикам приходилось самим выходить из положения. Кой-кому приносили родители или соседи с работы неисписанные листы, вырванные из бухгалтерских книг или служебных отчетов. Мы их сшивали и превращали в тетрадки, разных форматов, когда разлинованные, а когда и нет.

Как-то нас повели в госпиталь, но уже не помню, с какой целью, а вот посылки на фронт мы все время собирали и отправляли, посылались, чаще всего шелковые и бархатные кисеты, их очень дешево можно было купить в канцелярских магазинах. В них ребята вкладывали записки со стандартными пожеланиями. Возили нас куда-то и на окраины рыть картошку.

Зимой нам опять пришлось скитаться. На этот раз нас приютил мамин дядюшка, живший во Вспольном переулке. Дом примыкал к особняку Берии. Тот со своей свитой любил наведываться в наш двор и, как «добрый» барин расспрашивал жильцов, кто, в чем нуждается. Мы с мамой с ужасом и отвращением смотрели из окна на него и его свиту. Часто к нам забегала моя двоюродная бабушка Клавдия Владимировна, сестра маминой матери. Она всячески старалась скрасить мою жизнь — дарила книги, марки, старинные брелочки, бисер, из которого я любила мастерить разные вещи. По сей день вспоминаю ее с бесконечной благодарностью.

Весной мы снова перебрались домой. Было так голодно, что мама решила стать донором, хотя ее брат, врач, всячески ее отговаривал, пугая страшными последствиями. Конечно, мама поступила так только ради меня, и я до конца жизни не забуду, что мама выкормила меня своей кровью. Доноры получали рабочую карточку, а главное, их прикрепляли к специальному магазину, где по этой карточке отпускались настоящие,

полноценные продукты. А тут нам еще помогли дочери художника Поленова, Елена Васильевна и Ольга Васильевна. Они делали брошки для артели и научили этому маму, ее тоже приняли в артель. Все, как могли, старались приспособиться, придумывали сами, учились друг у друга, помогали друг другу, — только этим и держались («… человечество живо одною, круговою порукой добра»). Другие наши друзья, жившие в Петровском-Разумовском, оформляли стенгазеты для продовольственных магазинов, за это им платили продуктами. Помню, как на Пасху с одной из них я обходила все булочные в округе, где нам давали куличи.

Кое-какая помощь приходила от дяди с фронта. Первое время он был не на передовой, а в строительных частях, в основном они взрывали, а потом восстанавливали мосты. Однажды он прислал убитого им лося, и мы долго пировали; он был охотник и свой полк тоже подкармливал лосятиной. В другой раз получили от него глыбы глюкозы, доставленные в кузове грузовика. все залитые бензином. Это не помешало нам поедать ее с восторгом. Уж очень не хватало сладкого. И все что-то придумывали, изобретали. Тушили, например, на сковороде тертую красную свеклу, предпочтительно сорт, называемый «Египетский». Она была слаще. Ее намазывали на хлеб, вместо джема. Еще мы покупали (тоже кто-то научил) гомеопатические шарики и сосали их, как конфеты, их отпускали без рецепта, стоили они гроши, и, по-видимому, не все об этом догадывались, иначе, я думаю, гомеопатические аптеки опустели бы. Почему-то мы всегда спрашивали Бриониюю 3х, просто, наверное, не знали других названий.

Были и другие выдумки, но это уже в целях экономии: картошку жарили тертую, она пускала сок, и требовалось меньше масла, а масло тогда было не подсолнечное, а хлопковое. Осенью отправлялись на Воробьевы горы за желудями. Мама молола их в кофейной мельнице, получался вкусный желудевый кофе. Чая тоже не было, и чтобы не пить пустой кипяток, давили в чашке немного клюквы, ее очень дешево можно было купить на рынке.

Чтобы как-то облегчить людям жизнь и помочь прокормиться, желающим стали предоставлять участки земли под огороды. Это бывали и дачные участки людей, уехавших в эвакуацию, или просто пустыри на окраинах города, или же никогда ранее не возделываемые полоски земли, тянувшиеся вдоль железнодорожных путей. Эти огороды никто не сторожил, и, насколько я помню, никто на них не покушался. Уж не знаю, откуда люди доставали семена, наверное с рынка, а картошку сажали не целую, а тонкий срез с проросшим глазком. Примерно

в это же время особо нуждающимся стали давать так называемое УДП. — усиленное дополнительное питание; этот термин сразу же переиначили в «умрешь днем позже».

После того, как мама начала сдавать кровь, мы уже не голодали, но были совершенно раздеты. Мама донашивала старое, а для меня приходилось что-то перешивать, — ведь я росла. Хуже всего было с обувью. Летом 43-го года я ходила по улицам босиком, в жаркие дни асфальт раскалялся и жег ступни. Иногда мы всем двором убегали в Александровский сад и становились, мальчишки в трусиках, а мы, девочки, прямо в платьях, под холодную струю шланга, — у кремлевских стен клумбы поливали даже в войну. Осенью в школе мне выдали ордер на туфли. По этому ордеру я получила брезентовые ботинки на резиновой подошве, тяжелые и неудобные, но я и таким была рада. В магазинах иногда появлялись матерчатые туфли на деревянной подметке.

Трудности были с мытьем. Летом можно было вымыться в кухне, стоя в корыте, а зимой приходилось ходить в баню. Для этого надо было отстоять огромную очередь. Там каждому давали крошечный кусочек простого (так тогда называли хозяйственное) мыла, его едва хватало, чтобы намылиться.

Года с 43-го, — до этого приходилось иногда сидеть с коптилками, — летом готовили на плитке, а на электричество был установлен лимит, и за его перерасход отключали свет, но по известной русской пословице «Голь на выдумки хитра» изобретались способы обходить этот закон. В шнур, подводящий к электросчетчику, вкалывались булавки, на счетчик клали монеты, благодаря таким ухищрениям понижались показания счетчика. Существовало страшное слово МОГЭС. Нельзя было открывать дверь, не спросив «кто там?», и если в ответ раздавалось МОГЭС, надо было срочно вытаскивать булавки и убирать монетки. Те, у кого был газ. готовили по ночам, т. к. его включали только в это время на несколько часов.

Спрашивать «кто там?» приходилось не только из-за возможного появления представителей МОГЭСа. Часто, когда все уже собирались спать или спали, раздавался стук в дверь. Все мужчины из нашей квартиры были на фронте. Моя тетя, как самая храбрая, подходила к двери и спрашивала «кто там?». Ответа не следовало, а затем слышались удаляющиеся шаги. Через некоторое время стук повторялся, и опять никто не отвечал. Это происходило множество раз. Хорошо, что дверь была толстая, крепкая, дореволюционная, и прочная, чугунная цепочка. Ходить в темноте по лестнице тоже было боязно и неприятно — ноги то и дело натыкались на лежащих людей, по большей части мужчин,

они, наверное спали, но все равно, перешагивая через тела, становилось жутко.

Было еще одно бедствие. У нас и до войны водились крысы, но почему-то не очень попадались на глаза, только иногда слышался писк крысят. Правда, у нас всегда жили кошки. Но во время войны крыс развелось столько, и они так обнаглели, что входишь, например, в кухню и видишь, как со всех столов спрыгивают громадные чудовища. А как-то раз, входя в уборную.

я увидела крысу, сидящую на унитазе. От неожиданности и омерзения я чуть не подпрыгнула до потолка. Решили опять завести кошку. Подобрали на лестнице котенка — очень несчастного, — мальчишки сбросили его с пятого этажа, на всю жизнь она осталась маленькой и горбатой. Мы так и прозвали ее Горбушкой. Эта бесстрашная крошка набрасывалась на крыс и лихо расправлялась с ними. Вся квартира вздохнула с облегчением, сначала на меня ворчали, а потом даже стали подкармливать моего крысолова.

Наконец осенью 43-го года мы с помощью той же Нади обзавелись железной печуркой, так называемой «буржуйкой», заменив ее впоследствии кирпичной, — железная очень быстро остывала и плохо нагревала комнату. Кирпичи тоже на земле не валялись, нам продала их соседка маминой подруги (если не ошибаюсь, по рублю за штуку), несколько дней я таскала их из Кисловского переулка у Консерватории, зажав по кирпичу в каждой ладони. Печки появились не только у нас, вода в доме больше не замерзала и можно было жить дома. Дров немного выдавали, их нужно было привозить издалека, с каких-то окраин, я уже не помню, как нам это удавалось. На растопку часто шли книги. В прихожей, в огромном шкафу хранились дедовские устаревшие книги по медицине, но попадались и художественные, которые подвергались той же участи. Как-то я извлекла из-под печки переписку Чехова с Книппер и тут же в нее воткнулась.

Не хватало посуды. Старые кастрюли и сковородки кое-как еще служили, а вот чашек не осталось совсем, те немногие, которые не были свезены на дачу, постепенно перебились, и мы пили из старых медицинских банок, гораздо больших размеров, чем современные, их тоже извлекли из дедовского шкафа. Я много помогала маме по хозяйству. Больше всего изматывали многочасовые очереди в булочной на Тверской, к которой мы были прикреплены. Там продавали хороший белый хлеб, и поэтому бывало особенно много народа. Иногда от духоты мне становилось дурно, и я, бросив очередь и судорожно зажав в руке карточки, бежала домой; тогда приходилось идти маме. Когда приближались к прилавку и продавец отвешивал хлеб,

протягивались десятки рук стариков и детей, а довесков было один или два, редко три, и вставал мучительный вопрос

кому отдать? Такое же тяжелое, щемящее чувство вызывал вид старых, изможденных, голодных людей, стоявших вдоль всего переулка, ведущего к Палашевскому рынку, куда я часто ходила. Они предлагали какие-то бисерные висюльки, веера, подсвечники и всякие другие никому не нужные вещи, которые никто не покупал. Представляю, как набросились бы на них сейчас все те, кто помешан на идиотском слове «ретро»! Я упомянула о Палашевском рынке, но такая же картина наблюдалась и в других местах.

Постепенно стали возвращаться театры, редакции журналов. Мама снова могла зарабатывать перепечаткой на машинке. Больше всего в первое время приходилось печатать в бесчисленных экземплярах на какой- то серой бумаге пошлейшие пьесы Виктора Гусева для фронтовых театров. Некоторые концертные залы вообще не закрывались. Иногда мы ходили в Малый зал Консерватории. Здание не отапливалось и приходилось сидеть в пальто, а уж как выдерживали сами музыканты. а главное их руки, просто не знаю. Не пропустили мы. конечно, и первое исполнение 7-й симфонии Шостаковича в Колонном зале. Не так-то просто было достать билеты, а при входе уже совсем непреодолимая преграда — детям нельзя! (И всегда-то вечером, а тут еще из-за воздушных налетов). По счастью, одновременно с нами у лестницы появился Шостакович.

— Дмитрий Дмитриевич, — кинулась к нему, совсем не будучи с ним знакома, мама, — попросите пожалуйста, чтобы пропустили мою дочку.

Тот даже не обернулся, те, кто видели Д.Д. на его концертах, да еще на первом исполнении, знают, что от волнения его лицо чуть ли не сводила судорога, но для билетерш маминого обращения, да еще по имени

отчеству, было вполне достаточно, и они почтительно расступились. Зал был переполнен, люди стояли в проходах, встречали симфонию восторженно. Ее стали часто исполнять по радио, и на улицах и во дворах можно было слышать, как все мальчишки от мала до велика насвистывали марш из этой симфонии. Годом позже те же мальчишки по всей Москве распевали «Вар-вар-вар-вара…» (War — war — war, война — война) — припев из американского фильма «Три мушкетера».

Были мы с мамой в начале 43-го на чтении Пастернаком только что законченного им перевода «Ромео и Джульетты» (происходило это то ли в библиотеке, то ли в Литературном музее, где-то между Пречистенкой и Остоженкой). Я видела и

слышала его впервые. Запомнился его заразительный, захлебывающийся смех, когда он изображал слуг: «Я буду грызть ноготь по их адресу. Они будут опозорены, если пропустят это мимо». В перерыве разглядела его поближе, он стоял у раздевалки, окруженный кучкой друзей.

Взрослые девицы бредили Симоновым,

Маму безумно возмущало «Жди меня» — разве мыслимо чье бы то ни было чувство сравнивать с материнским: «Пусть забудут сын и мать то, что нет меня…. Только ты умела ждать…» Молодой Лермонтов в том же возрасте, даже чуть моложе понимал:. да готовясь в бой опасный помни мать свою…» понимал за матерей, вспоминают ли сыновья — вопрос другой. А уж по поводу эренбурговского наказа «Папа, убей немца!» просто кипела и негодовала, — как можно вкладывать подобное в уста и сердце ребенка. Да и от того же симоновского… если дорог тебе твой дом… так убей же его, убей» — тошнило.

и делали все возможное и невозможное, чтобы попасть на его выступления. А у младших были свои кумиры: Зоя Космодемьянская, Лиза Чайкина… И пусть потом с них сошла позолота, и вскрылось много лжи, и я не знаю, кто и как мог сфотографировать повешенную

Зою в немецком тылу под носом у гестапо, — эта фотография была помещена в «Правде», — и понятно, что не им, а «безымянным героям осажденных городов» посвятил стихотворение Пастернак, но все-таки, мне кажется, не следует забывать их имена.

В конце войны нас снова выручили дочери Поленова. Они придумали, а может быть их тоже кто-то научил делать платочки. У многих старушек в сундуках еще сохранились платья, блузки и шарфы из газа, муслина, шифона. Из этих воздушных вещей, замененных в наше время нейлоном, нарезались квадратики платков; их можно было приколоть к вырезу платья или засунуть в кармашек. Если эти старые вещи слишком пожелтели от времени, их красили, а из тюбиков, сделанных из кальки, наносились масляной краской узоры и обводились края. В воздухе ощущалась близость Победы, настроение у людей было совсем иное, и женщинам хотелось хоть чуточку принарядиться, а в магазинах купить было нечего. Открывшиеся к тому времени коммерческие магазины были доступны очень немногим. И вот все те же мамины подруги у себя на работе или просто на рынке торговали этими платочками. Спрос на них был огромный, а выручкой мама делилась с помощницами. Так у нас появились деньги, и немало, по тем временам. Маме больше не надо было сдавать кровь, продукты мы теперь покупали на рынке. Но на

одежду все равно не хватало. Один только раз, когда уже совсем нечего было надеть на ноги, мама купила мне самые простые туфли в коммерческом магазине.

Тогда же мама повела меня в кондитерскую на улице Горького (Тверская) и угостила пирожным. Как я ни упрашивала маму съесть половинку, мама наотрез отказалась. Больше всего поражало в этой кондитерской, что взрослые женщины без детей, стоя тут же у прилавка, поедали купленные за баснословную цену пирожные.

Я уже говорила о том, что с сорок третьего года начали постепенно возвращаться из эвакуации театры, учреждения, а с ними и люди, вернулась Третьяков- екая галерея, возвращения которой я ждала с нетерпением. Мы с мамой долго стояли в очереди, чтобы попасть в нее в день открытия. На сезон 44/45 гг. мама купила мне и двум моим приятелям абонементы на музыкальные воскресные утренники в Зал Чайковского. Салюты в честь освобожденных городов стали привычным явлением. Летом 44-го года дачные поселки снова ожили, с террас разносилась бесконечная «Темная ночь» и «Шаланды». Все это уже больше походило на мирное время, невзирая на то, что с тем же напряженным вниманием следили за сводками СОВ-ИНФОРМБЮРО, разносящимися по стране голосом, ставшим легендарным, Левитана. Не только голос был легендарным, а сам обладатель голоса был для многих некой легендой, не рупором правительства, а чуть ли не самим правительством, кем-то «главным», после вождя, разумеется. Когда умер Сталин, соседи по дому близкого друга всей нашей семьи А.С.Магида, очень его уважавшие и обо всем с ним советовавшиеся, а был он простым (блестящим!) преподавателем литературы в вечерней школе, спрашивали:

— Алексей Савельич, как вы думаете, кто же теперь у нас будет, может, Левитан?

И это не анекдот.

И вот, наступил этот долгожданный день Победы! Наконец-то прекратилось кровопролитие, кончились ужасы войны. Ведь тогда не знали, кроме самих пострадавших и их близких, что тех самых героев, проливавших кровь на фронтах, повезут эшелонами на восток, где их ожидают еще большие страдания и муки.

9 мая с утра начались бесконечные звонки по телефону. У некоторых, но далеко не везде, телефоны были вновь поставлены, ведь во время войны у всех, кроме очень небольшого числа привилегированных лиц, они были сняты, так же как отобраны радиоприемники. Кто-то звал в Тушино, кто-то еще куда-то. Но я со своим приятелем просто вышла из дома и пошла по переулку,

без всякой определенной цели. На Никитской мы увидели не очень стройное и не слишком многочисленное шествие с флагами. Это была едва ли не единственная неофициальная и несанкционированная демонстрация за все время советской власти. Впереди, играя роль распорядителя, вышагивал бойкий школьник, на Манежной площади мы подошли к американскому посольству и приветствовали в его лице союзников. На балконе появились американцы и стали бросать вниз пачки сигарет. Потом мы направились к английскому посольству, затем наш распорядитель предложил пойти и передать привет дружественному народу Югославии. После этого, где-то в начале Кропоткинской, мы отстали от демонстрации, да и вся она начала таять. Вечером люди устремились на Красную площадь. Меня мама не пустила, опасаясь давки, и мы смотрели салют, как и все предыдущие, из окна кухни, обращенной в сторону Манежа.

IV. Впечатления послевоенной поры

Я хочу остановиться на сравнительно небольшом отрезке времени, примерно от 46-го года до смерти Сталина, бывшем во многих отношениях одним из самых беспросветных. Появилось твердое ощущение, в значительной мере связанное с полным крушением надежд хоть на какую-то разрядку атмосферы по окончании войны, что уже никогда ничего не изменится, что террор, как надписи на папках КГБ — хранить вечно, что подарки будут лежать столетиями, что поток поздравлений не иссякнет никогда, что Сталин будет жить вечно. Этими настроениями полон роман «В круге первом», об этом рассуждают в эпилоге герои «Доктора Живаго», об этом свидетельствуют многие воспоминания. Но эти годы пришлись на конец моего отрочества и юность, а ведь известно, что «Были бури, непогоды, да младые были годы…», и поэтому, несмотря ни на что, школьная пора осталась в памяти как яркая и даже светлая. Все чудовищное, все самое страшное в какой-то мере проносилось мимо, как проносились в 48-м году за окнами поезда разрушенные вокзалы, вызывая в памяти недавние бои и кровопролития. И все-таки они проносились мимо, потому что в шестнадцатилетней душе все пело от счастья: я еду в Крым. Да простят мне сложившие голову на этих полях, что не помянула их тогда с благодарностью. Правда, на рассвете, проезжая Сиваш, не могла не думать о том, как у солдат, перетаскивавших на себе пушки, лопались икры. Действительность была гораздо страшнее, даже чем документальные кадры из фильма Тарковского «Зеркало».

Нельзя конечно забывать, что чудом в нашей семье никто не погиб в тюрьме или лагере, хотя дед сидел в камере смертников в 18-м году, но был отпущен. Мама тоже побывала в Бутырках, и ее не однажды вызывали на допросы; все держалось на волоске, но она осталась на свободе, а я благополучно поступила в университет и уже там оказалась в невыносимо мрачной обстановке, сгустившейся до предела в самые последние годы жизни Сталина. Кроме того, я стала старше, а потому острее все замечала. Я попыталась рассказать, как это проявлялось на факультете. Эти впечатления, разумеется, далеко не исчерпывающие, в значительной мере это объясняется тем, что моя внутренняя жизнь протекала вне университета. Были близкие друзья с теми же интересами, вкусами, взглядами на жизнь, что и у меня, — все это нас объединяло и сближало. А нас объединяли и любовь к поэзии и вообще к литературе, многие мальчики сами писали стихи, хотя большинство, если не все, были отнюдь не

гуманитарии, восхищение Пастернаком, чуть ли не ежедневные посещения концертов, особенно если исполняли Шопена, увлечение Хемингуэем, через которое прошли многие не только из моего поколения, но и предыдущего, за исключением более снобистски настроенной его части, предпочитавшей Хаксли и Томаса Манна, прогулки по Подмосковью и пешком, и на лыжах, и на байдарках.

Однажды, катаясь в Переделкине вдоль Сетуни, мы остановились, прислушиваясь к заливавшейся по-весеннему синице (но это я забегаю немного вперед), и буквально через несколько дней узнали новое стихотворение Пастернака «… щебечет птичка на суку легко, маняще». В те же дни, на той же опушке, про тех же птиц — это было поразительно, — мне поэтому особенно дороги эти стихи.

Вслед за мной мои друзья потянулись в Коктебель и тоже его полюбили. В начале 50-х в литфонде появилось больше молодежи (мы-то всегда ездили «дикарями»). С некоторыми завязывалась дружба, иногда на лето, иногда на долгие годы. Когда мы отправлялись в горы, к нашей компании любил присоединяться В.А.Каверин, и, по-моему, каждая девица, стараясь привлечь его внимание, втайне надеялась стать прототипом героини его очередной книги, не изжив детское увлечение «Двумя капитанами».

Однажды мы с мамой во время прогулки присели у источника на перевале, и вдруг наш спутник, отец одной приятельницы, начал читать «Волны» — это было неожиданно и радостно, ведь любовь к Пастернаку тогда была чем-то вроде пароля.

По вечерам играли в пятак, в шарады и во многие другие игры, названия которых сейчас никому ничего не скажут. Без конца пели киплинговскую «День, ночь, день, ночь мы идем по Африке», «Просыпается хмурое утро…», конечно же «Бригантину», песенки недавно вернувшегося Вертинского. Многие его имитировали — это было просто поветрие, — а также многочисленные коктебельские, сочинявшиеся Е.Благининой, М.Алигер и другими любителями этого благословенного уголка. И обходились без всякого вина, отчего не становилось менее весело, что, к сожалению, мои дети и старшие внуки никак не хотят понять.

В 53-м году у меня родилась дочка, вскоре тяжело заболела мама, и на последних курсах я появлялась в университете только на занятиях языка и спецкурсах, естественно, что многое при этом могло ускользнуть от моего внимания.

Какое-то облегчение в первый момент по окончании войны все же почувствовали. Ведь это так естественно: кто-то живым

вернулся домой, кого-то дождалась семья, хоть и не для всех был тот салют, не для всех та победа. Оставались еще кой-какие отдушины, которые захлопнулись не сразу, происходило это постепенно, а потом уже разразились кампания за кампанией. В 46-м году выпустили маленькую книжечку Пастернака «Земной простор». Зная заранее, что она должна появиться, я каждый день забегала в книжный магазин на Манежной площади и, в конце концов, накупила сразу несколько экземпляров для нас и для всех друзей. Если не считать последних лет, когда можно достать любую книгу (правда из-за непомерных цен сейчас они доступны немногим), это был единственный случай в моей жизни, когда свободно, не с рук, не в букинистическом, я смогла купить сборник Пастернака. Некоторые стихи из него он уже читал, и я их любила.

Один такой вечер ленинградских и московских поэтов происходил в 46-м году в коммунистической аудитории нового здания старого университета. Среди выступавших был тогда еще молодой, немного строивший из себя Иванушку-дурачка Михалков с баснями, за которые ему порой попадало, так что быстро отказавшись от роли либерала, он исправился на всю оставшуюся жизнь. Тепло встречали Бергольц с ее «блокадной ласточкой», и даже Дудина: «А я люблю хрустящий наст, когда он лыжей взрежется, когда всего тебя обдаст невыдуманной свежестью», и закончил «…и если есть на свете Бог, то это ты, поэзия». Но все пришли, разумеется, ради Ахматовой и Пастернака. «Кого же еще здесь слушать», — поделился с нами сидевший рядом молодой человек, выразив таким образом мнение всех присутствующих. И действительно, их принимали восторженно. Ахматова держалась строго и сдержанно и прочла немного. Пастернак начал с заявлений, что сейчас он учится писать стихи у Симонова и Суркова, а потом, как всегда, заражающий и заряжающий слушателей своей покоряющей улыбкой и неповторимым голосом и сам загорающийся от ответного тепла и любви зала, много читал из «Земного простора», иногда сбивался, и ему тут же подсказывали.

В 48-м году состоялся вечер «За прочный мир, за народную демократию» в Политехническом музее. Попасть на него было почти невозможно. Нас с мамой, как и еще многих своих друзей, провел и попросил усадить Пастернак. Когда он, запоздав из-за этого, пробирался на свое место, зал взорвался бурей аплодисментов, от которых позеленел Сурков, уже начавший вступительное слово, где он сыпал такими перлами остроумия и эрудиции: «Вся гитлеровская свора, включая самого Гитлера, не только начиналась на одну букву, но и пахла одинаково». Но это

было уже последнее публичное выступление Пастернака, если не считать чтений переводов Шекспира и «Фауста» Гете.

Оставалась консерватория, где уже блистал молодой Рихтер. Он был тогда совсем другим. Я имею в виду не его игру, которая с каждым годом, с каждым концертом становилась совершеннее и совершеннее, хотя казалось и продолжало казаться, что это уже невозможно, что и так превзойдены все вершины. Я говорю о его манере держаться и отношении к публике. Он не выходил, а вылетал сияющий на эстраду, подобно солнечному лучу, озаряя улыбкой все вокруг и охотно и много бисировал. Бесподобно играли Г.Нейга- уз (я и тогда, и теперь считаю, что лучшего шопениста не слышала), М.Юдина; это годы небывалого расцвета русского пианистического искусства. И не только пианистического. Тогда же покорял всех замечательный дирижер К.Зандерлинг. которого травил, душил и выжил-таки не только из Ленинграда, но и из России Мравинский. Билеты на концерты продавались совершенно свободно за несколько дней и даже накануне. И что поразительно, в это трудно поверить: на выступлениях всех этих выдающихся музыкантов, за редкими исключениями. Большой зал никогда не был полон. Мы с друзьями покупали самые дешевые билеты и почти всегда сидели в партере на свободных местах, не только в Большом, но и в Малом.

Однажды в Малом зале на исполнении очередного квартета Шостаковича, сидевшего перед нами Дмитрия Дмитриевича согнала какая-то женщина, заявив, что это ее место, хотя в том же ряду было еще несколько свободных мест. Это было странно еще и потому, что завсегдатаи консерватории хорошо знали Шостаковича в лицо. Покраснев до кончиков ушей, он пересел на другой стул. Но что почувствовала эта чудачка, когда после исполнения квартета, автора потребовали на сцену.

Но, возвращаясь к Зандерлингу, на одном из его концертов несколькими годами позже, при неполном зале, я подумала, вот когда он уедет и станет появляться как гастролер (к тому времени уже нередко приезжали музыканты из других стран), на него нельзя будет попасть. Что и случилось впоследствии.

В эти же годы в драматических театрах царил застой. Кроме советских шедевров и Чехова в МХАТе и Островского в Малом, практически ничего не ставили, иногда только делая исключения для испанцев, хотя еще были живы такие замечательные актеры, как Бабанова, Мансурова. Андровская, Кторов и многие другие. Как-то один театровед, часто выступающий по телевизору с рассказами о театре и кино, сказал, что в МХ АТ ходила интеллигенция. Это неверно. Интеллигенция не ходила в МХАТ,

где Тарасова с теми же истерическими интонациями, с которыми она играла Каренину, произносила, обращаясь к мужу, крупному начальнику: «Купи мне туфли под цвет нашей машины ЗИС-110» в суровской «Зеленой улице». Кажется, в конце пьесы героиня перековывалась и становилась к станку. Эта и подобные ей пьесы вроде «Платона Кречета», «Глубокой разведки», «Победителей», где ту же Тарасову, военного врача, поклонник-генерал в припадке нежных чувств называл: «Эх, Лиза, Лиза, лисапед», — ставились по всем правилам системы Станиславского. В них было занято прославленное второе поколение мхатовцев, на декорации и костюмы денег не жалели, так что в результате выпускались не спектакли. а просто конфетки. Интеллигенция, не считая консерватории, ходила к Образцову, где лучшая постановка «Король-Олень» даже была снята из-за слишком откровенных выпадов против тирана-короля, на концерты Обуховой и в балет на Уланову и Семенову.

Лето 47-го года я провела в пионерском лагере под Подольском. Лагерь был расположен на месте старой усадьбы, от нее, впрочем, остался только изрядно облупленный небольшой дом и несколько построек более позднего происхождения. Рядом — обезглавленная и почти разрушенная церковь, низ которой использовался под сеновал. Длинные столы под навесом служили нам столовой. В те годы, судя по моему опыту, в лагере жилось совершенно привольно и совсем не походило на «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен». Начать с того, что входа или какого-либо забора вообще не существовало. Никакой униформы, кроме торжественных случаев. Обязательными были только утренняя и вечерняя линейки. До обеда мы, старшие, торчали на волейбольной площадке, а те, кто не хотел или не умел играть, разбредались но округе безо всякого надзора или придумывали себе еще какие-нибудь занятия или развлечения. После обеда нас, правда, укладывали спать, а по вечерам мы играли в ручеек, почту, иногда опять в волейбол или танцевали под баян всякие польки, венгерки и краковяки, благо большинство ребят, вернее девочек, занимались в балетном кружке Дома пионеров, на базе которого и был организован лагерь. Иногда в жаркие дни мы с кем-нибудь из вожатых отправлялись на речку, Мочу, но идти надо было далеко и полем, поэтому донести прохладу до лагеря после купанья не удавалось. Но все равно мы были довольны, в дальнейшем мы стали удирать во время мертвого часа на пруд, совсем поблизости, и там уже могли насладиться вволю. Кормили невкусно и скудно, но мы с жадностью все подчищали, оставляя в первозданной чистоте не слишком аппетитные алюминиевые миски. Время еще было

голодным. Чтобы хоть немного нас подкормить, родители снабдили нас небольшим количеством денег, на которые мы покупали вечером по кружке молока в соседней деревне. Прикармливались также морковью и горохом, — благо колхозное поле было поблизости.

Перед концом смены устроили маскарад. Боже, что это были за костюмы, которые мы сами себе соорудили. Современные дети, наверное, только посмеялись бы над нами. Но мы веселились вовсю и были в восторге от собственных выдумок. Я решила во что бы то ни стало предстать принцем из фильма «Золушка», им бредили многие девочки, в том числе и я. У лагерного врача оказались черные шелковые чулки, плащом служила тоже черная и тоже шелковая юбка, которую я выпросила у вожатой, моя белая рубашка, или как тогда говорили кофточка, по счастью, была с длинными рукавами, сатиновые трусики удалось как-то преобразить в панталоны, соответствующие наследнику престола, а сбоку деревянная шпага. Ну чем не принц? Мой костюм получил первый приз — кулечек сухого компота.

Иногда мы отправлялись в другие пионерлагеря, — то на соревнования по волейболу, то с выступлениями. Как я уже говорила, большинство ребят занимались в кружках в доме пионеров, так что у нас были и танцовщицы, и музыканты, и чтецы. Подходя к территории чужого лагеря, мы обычно затягивали песню про Стеньку Разина и особенно нажимали на «одну ночь с ней провожался…», вожатые возмущенно шикали на нас, но унять не могли. Однажды мы отправились в поход. Топали целый день, варили что-то в лесу на костре и к вечеру добрались до какого-то дома отдыха ветеранов сцены, а может и не ветеранов, расположенного в необыкновенно живописной старой усадьбе, со старинным домом, недавно отремонтированным, парком с аллеями и клумбами. Все это огибала речушка, заросшая кувшинками. Но было уже поздно, и нам не пришлось вдоволь полюбоваться этими красотами. Нас загнали в рабочий клуб, наскоро покормили и уложили спать прямо на голом полу в зале клуба.

Конец моей веселой лагерной жизни не обошелся без ложки дегтя. На закрытие приехала директриса Дома пионеров, из-за нескрываемого антисемитизма ненавидевшая и всячески изводившая мамину подругу, Л.М.Мазель, завуча и руководительницу кружка художественного слова, устроившую меня в лагерь. Видимо, желая насолить ей, директриса на торжественной линейке в заключение своей речи, обращаясь к собравшимся, заявила: все вели себя замечательно, кроме Баранович, которая тянула весь лагерь назад. От неожиданности

я даже почувствовала себя оскорбленной, тем более, что это было совершенно несправедливо. Мы хоть и убегали на пруд, отправлялись по ночам гулять и были замешаны в других шалостях и нарушениях, но я не одна была заводилой, и ей вообще обо всем этом ничего не было известно, — просто она сводила счеты с маминой подругой, но об этом я тогда ничего не знала. Ее слова ошеломили не только меня, но буквально всех, в том числе и нашего директора, милейшего человека, который счел необходимым извиниться за нее передо мной, уверяя, что это чистейшее недоразумение.

Обратно в Москву мы почему-то добирались самостоятельно: сначала на попутках до Подольска, а оттуда на электричке, хотя туда нас везли на автобусах.

Школьные годы, на удивление своим родным и друзьям, я вспоминаю с удовольствием. Я действительно чувствовала себя там как рыба в воде. Мы играли и на уроках и на переменках, шалили, срывали уроки или просто с них удирали. У меня было много подруг и прекрасные отношения почти со всеми учителями. Даже в старших классах, когда я наотрез отказывалась вступить в комсомол и так никогда и не была комсомолкой (хотя до этого играла, разумеется, не всерьез, во все пионерские игры и даже была председателем совета отряда в классе, просто из любви поверхово- дить), а времена были достаточно крутые, из-за доброжелательного отношения учителей, директрисы и всей комсомольской верхушки это как-то сходило с рук, правда, однажды секретарь комсомольской организации добродушно, но вполне серьезно назвала меня «разложившимся элементом». А в своем классе, где девочки, с которыми мы вместе когда-то зачитывались Диккенсом и Толстым, теперь с пеной у рта доказывавшие несравненные достоинства «Белых берез», «Счастья», «Кавалеров золотых звезд», не говоря уж о «Молодой Гвардии», я откровенно высказывала свое мнение на этот счет.

Меня всячески пытались перевоспитать и уговорили-таки прочитать Казакевича, но дальше этого дело не пошло. Возможно, потому я не слишком страдала от давящей атмосферы в школе, ставшей особенно нестерпимой в последних классах, что у меня помимо школы было достаточно друзей и подруг, с которыми я отводила душу. Но и в школе, несмотря ни на что, меня многое объединяло с девчонками: занятия гимнастикой и плаваньем, хождение на каток, всякие шалости, увлечение театром и просто совместно проведенные годы.

Очень многих учителей я вспоминаю с нежностью и благодарностью, — кого-то за человеческие качества и доброту, кого-то за увлекательные уроки, кого-то за то и другое. И хотя

нередко, особенно в младших и средних классах, мы их изводили и доводили (доставали, как сказали бы сейчас), и доставалось им от нас куда больше, чем нам от них, — теперь слишком поздно и уже не у кого просить прощения — все равно, за редкими исключениями, у нас были близкие и дружеские отношения. Мы навещали их, когда они болели. В 44-м наша учительница потеряла свои и дочкины хлебные карточки на одну декаду (хлебные карточки можно было разрезать по декадам, — если пропадут, то все-таки не на весь месяц). Мы тут же собрали свои бублики, а дело было в субботу, и нам давали по два на каждого, и вручили ей. В свои десять-одиннадцать лет мы, в отличие от принцессы из французского анекдота, недоумевавшей, почему голодные люди не могут есть печенье, если у них нет хлеба, понимали, что значило в 44-м остаться на 10 дней без хлеба. И когда 8 марта, собрав по рублю, мы дарили букетики мимозы (других цветов в это время года не водилось) или флакон дешевых духов, то не потому, что так было принято или положено, а от всего сердца. И невзирая на все наши проказы, учителя, в свою очередь, кто больше, кто меньше, кого-то больше, кого-то меньше, тоже любили.

Тем не менее это не мешало мне ощущать яд, которым были отравлены все и вся. Как-то еще в третьем классе я шла с подругой по Кировской (Мясницкая), в одной из витрин ее поразил портрет Сталина, где он (на ее взгляд) был изображен очень уж страшным… «Это же настоящее вредительство», — тут же отреагировала она. Я только ахнула про себя. И именно потому, что ей было всего десять лет, ее никак нельзя было заподозрить в лицемерии, как в случае споров по поводу кавалеров золотых звезд в 10 классе. К тому же мы были одни и не в стенах школы.

Но бывали и редкие исключения. Как-то, когда принимали очередную партию в пионеры, одна девочка отказалось от этой чести по религиозным соображениям. В тот год у нас была очень милая классная руководительница, и поэтому девочку оставили в покое, только остальные долго продолжали обсуждать неслыханный поступок Вали, а заодно и то, что она носила нательный крестик, — в ту пору большая редкость в городах, да и не только в городах, в отличие от наших дней, когда крест носят не только истинно верующие люди, как взрослые, так и дети, но и потому, что это стало модно и дозволено, и когда поголовно все распинаются в своих религиозных чувствах и с телеэкранов, и в печати, и на каждом перекрестке.

Невзирая на сильнейшее и постоянное домашнее противоядие, какой-то долей яда была отравлена и я. Я уже

говорила, что на протяжении всех лет, проведенных в школе, у меня каким-то образом складывались очень хорошие отношения с учителями, за исключением преподавателей по литературе. Именно потому, что я ее любила (я имею в виду не школьный предмет), и, естественно, поэтому здесь резче всего возникал протест против подачи материала и всех идейных содержаний, народности, положительных людей и лишних героев. На уроках литературы я болтала и занималась посторонними вещами больше, чем когда-либо, что не мешало мне справляться с сочинениями и получать хорошие отметки, поэтому учителя меня терпели, но и только, так же как и я их. Тошнота и оскомина от разбора любимых книг и писателей, да и не только любимых, оставалась так долго, что, например, «Капитанскую дочку», я смогла снова перечитать и оценить лет в тридцать, хотя знала и любила ее еще до школы.

Но возвращаясь к яду: в старших классах я, как почти все мои сверстники увлекалась Маяковским, не делая при этом никакого различия между действительно стоящим и всякими агитками и наступаниями на горло, ничего общего с искусством не имеющими. Я мечтала, чтобы на выпускном экзамене мне достался именно он и была счастлива, когда объявили тему «Образ социалистической родины в произведениях Маяковского». Сочинение я писала с неподдельным восторгом и легкостью, потому что знала всего Маяковского наизусть. После выпускного вечера, отправившись бродить по Москве с непременным, как тогда было принято, заходом на Красную площадь, мы, в отличие от других, не пели песни, а скандировали его стихи и куски из поэм. Но при всем том я никогда не сравнивала его и не ставила в один ряд со своими любимыми поэтами. Это увлечение проходило по какому-то другому руслу. А уж когда я узнала позднее его доносные заявления вроде такого: «…мы случайно дали Булгакову пискнуть — и пискнул… (имеются в виду «Дни Турбиных», упорно называемые «Белой гвардией»)… а дальше не дадим!» он просто перестал для меня существовать.

Отправляясь по инициативе нашей историчкии всем классом в кино смотреть «Ленин в Октябре» и в другие месяцы и годы, или «Юность Максима», я видела какие-то достоинства и не замечала бьющей наотмашь фальши и мерзости. А когда так весело было скользить по ледяным дорожкам Парка культуры под шульженковскую «едут, едут по Берлину наши казаки…», разве я вникала в смысл этих слов… Рассказы и книги вроде «Женщина в Берлине» и «Прусские ночи» стали известны гораздо позже.

А еще до окончания войны (очевидно, какое-то время казалось, что она будет длиться без конца) я заявляла дома, что

после седьмого класса пойду сестрой на фронт. В ответ на это мой дядя, военный врач, со свойственной ему резкостью, рявкал на меня: «Дура, не понимаешь, что говоришь и не знаешь, чем тебе там придется заниматься. Я тебя во всяком случае не пущу», охлаждая таким манером мои патриотические порывы. Сам он закончил войну подполковником, но в партию, хотя и принуждали, и угрожали, не вступил. Фронтовому офицеру это было нелегко, и таких случаев не слишком много.

Наша школа взяла шефство над Краснодоном. Комсомольские лидеры ездили туда, встречались с родственниками погибших молодогвардейцев, после чего в стенгазете появилось много заметок, а еще больше фотографий, а к нам приезжала и выступала Валентина Борц, и мы, тогда еще младшеклассники, смотрели и слушали ее с благоговением, — опять же многое узналось не сразу.

Хочется остановиться на некоторых чертах, характерных для женской школы, где я проучилась восемь лет. Первые два года я училась с мальчиками. Здесь в младших и средних классах атмосфера и отношения между девочками очень напоминали нравы институток дореволюционной поры. Мама училась в Екатерининском институте, и я хорошо себе это представляла по ее рассказам. Девочки объяснялись друг другу в любви, предлагали дружбу, выясняли отношения, не обходилось и без сцен ревности. Одна моя подружка после того, как я стала больше дружить с другой, несколько месяцев молча и глотая слезы, провожала меня домой, а жила я не близко, и продолжала эту церемонию чуть ли не целую четверть, несмотря на бесконечные просьбы оставить меня в покое. А от другой сохранилось письмо, прочитав которое, можно подумать, что оно написано пылким поклонником. Еще одна обожательница, над которой потешался весь класс, отвечая урок, выставляла ногу, закладывала руки за спину и поднимала бровь, в точности копируя мою позу у доски. Появление мальчика в школе, даже в старших классах, когда уже привыкли общаться с ними на вечерах, воспринималось, как событие. Как-то приятель занес мне утром в школу задачку, над которой просидел ночь, после чего класс долго не мог оправиться от потрясения.

Когда же, наоборот, девочки появлялись в мужской школе, это тоже вызывало переполох. Наш физик, преподававший одновременно в двух школах, привел нас как-то туда, чтобы договориться о совместных лабораторных работах и контрольных. Почему-то мы долго ждали во дворе, и вот из всех окон повысовыва- лись мальчишки с воплями: «Невесты, невесты пришли!» В этой школе мы начали заниматься в кружке бальных

танцев, он предназначался для восьмиклассников, но туда повадилась ходить компания десятиклассников, всем своим обликом и манерами резко отличавшихся от остальных ребят. Таких принято было тогда называть стилягами, — это словечко долго оставалось в большом ходу. Они выбирали себе партнерш из тех, кто постарше и получше одет, главным образом, девиц из дома полярников, построенного на

Никитском бульваре в 30-е годы для известных исследователей Арктики и полярных летчиков, с которыми тогда особенно носились. Обычно эти девочки проходили стандартный путь: сначала их запихивали в балетную школу Большого театра, а в дальнейшем, за непригодностью, отчисляли оттуда, и они попадали в нашу школу, ближайшую к их дому.

Непременный атрибут в спальнях этого дома — шкуры белых медведей. А у одной девочки из нашего класса в том же доме в 44-м меня поразила целая комната, только без окна, метров 13–14, усаженная всевозможными роскошными куклами — штук 30–40, как огромная витрина.

Когда началась война, мое поколение (я говорю о своих подругах, одноклассницах, знакомых) не «раздарили платьица белые» — донашивали все сами, вырастали и все равно донашивали, но в игрушки не играли больше никогда, в дворовые игры — да, но не в игрушки, и все их раздарили младшим сестренкам.

Уже в институте группа ребят, партнеров несостоявшихся балерин, оказалась замешанной в гнусной и страшной истории, попавшей в газеты под названием «Плесень». На даче одного из них они устроили настоящий бордель, там же делались аборты, а когда один захотел вступиться за какую-то девочку, его зарезали бритвой свои же друзья и закопали в снег прямо на участке. Дело по возможности замяли, и убийцы понесли не слишком строгое наказание, — заводилой был то ли племянник, то ли еще какой-то близкий родственник президента Академии наук.

Иного рода история произошла в нашей школе, в которую оказались втянуты моя подруга и я. У одной нашей одноклассницы, в ее доме мы часто собирались, внезапно проявилась шизофрения. Не знаю уж каким образом, ее дневник, который она в это время вела, попал в руки классной руководительницы, Анны Михайловны (факт примечательный уже сам по себе). Ее не любила вся школа, а мы и подавно. У нее были, например, такие привычки: вызовет к себе какую-ни- будь тихоню и начнет расспрашивать, что о ней говорят в классе, чем интересуются и тому подобное.

В злополучном дневнике среди прочих оказались такие

записи: «приходила Анна Михайловна, унесла шкаф. <… > Были Настя с Ириной, курили опиум». И вот к этим словам прицепились, абсолютно игнорирую предыдущую фразу, из которой совершенно очевидно явствовало, что все это писала душевнобольная. Меня не слишком терзали, я ведь не комсомолка, а мою подругу, к тому же еще еврейку, — происходило это в разгар борьбы с космополитизмом, — просто замучили форменными допросами, с так хорошо известными приемами: «когда, да сколько раз», и без всякого перехода: «А опиум в американском посольстве доставали?».

Однажды, когда еще тянулась эта история, Ирина сидела у нас, и мы за чаем как ни в чем не бывало так громко смеялись, что наверняка было слышно на лестнице. Раздался звонок и заявилась Анна Михайловна, чего прежде никогда не случалось, хотя по телефону она звонила часто, предпочитая, правда, разговаривать не с мамой, а с тетей, работавшей завучем в одной из московских школ. После того как еще в третьем классе маму вызвали к директору по поводу моего поведения, и услышав от нее: «Где же еще пошалить ребенку, как не в школе», учителя поняли, что от мамы толку не будет, и в дальнейшем, в случае необходимости, обращались к тете, с которой неизменно находили общий язык. Тетя всегда придерживалась суровых мер воспитания. Когда в старших классах она будила меня (до этого я училась во второй смене), — у нас не было будильника и вообще никаких часов, — а я решала, что пойду ко второму уроку или вообще пропущу школу, тетя не разговаривала со мной целый день. Уже будучи взрослой и обзаведясь семьей, я не раз вспоминала, что «женщин в детстве мучат тети, а в браке дети теребят». И в этот раз Анна Михайловна позвала тетю в прихожую и просила ее помочь, приговаривая: «В Насте я, конечно, не сомневаюсь, но вот Ира…»

Когда я с возмущением рассказывала об этом опиуме даже учительнице истории, которую мы все любили и посвящали в свои дела, я заметила, что она смотрит не на меня, а в пол и подумала: она мне не верит. Она же, между прочим, прогуляла с нами чуть не до рассвета после выпускного вечера, не знаю уж, по своей ли инициативе, или ей это поручили. Тянулась эта история довольно долго, но в конце концов затихла сама собой и без последствий, а то уже готова была вмешаться Ф.Вигдорова, узнав обо всем от одного из моих друзей.

Школьников, и не только школьников, разумеется, в принудительном порядке водили смотреть подарки Сталину к его семидесятилетию, выставленные в Музее изобразительных искусств, для чего пришлось надолго убрать всю экспозицию.

Подарки разместили и в других местах, но нас повели только туда. Унылое зрелище, наводящее тоску: бесконечные роскошные мебельные гарнитуры, белые телефоны, которых в Москве тогда еще не видели даже в кино, а уж в провинции и подавно. Неудивительно, что многие приходили по собственной воле поглазеть на все эти чудеса. Меня заинтересовал только поднос из крыльев бабочек — дар дружественного народа Индии. Что бы сейчас на это сказали многочисленные защитники природы? Где-то еще было выставлено зернышко риса, на котором искусные китайцы уместили целое послание, а возможно и весь коммунистический манифест, оно всех приводило в восторг, но я его не заметила.

В 10 классе у нас стал вести литературу известный чуть ли не всей Москве, заслуженный-перезаслуженный И.И.Зеленцов, но прозанимался с нами не больше двух месяцев, тяжело заболел и уже не встал, — он был очень старым. Но пока Иван Иванович еще появлялся в школе, он не только занимался своим предметом, но всячески старался приобщить девочек, что называется, к культуре. После уроков он нередко собирал нас в своем кабинете, маленькой комнате,

5 Заказ № 455 примыкавшей к библиотеке. Там он любил показывать репродукции французских импрессионистов, нигде тогда не выставлявшихся. Музей современного западного искусства был закрыт в связи с усиленно проводившейся кампанией против низкопоклонства перед Западом. Тогда же в Консерватории замазали портреты многих европейских композиторов, Вагнера, Мендельсона и некоторых других, на их месте появились лица Бородина, Римского-Корсакова и еще кого-то, никогда ранее до таких высот не возносившихся. Кафе «Норд» на Невском в Ленинграде был переименован в «Север». Кажется, в то же время ликвидировали «Коктейль- холл» на Тверской (ул. Горького), превратив его в кафе-мороженое, или просто мороженое без кафе.

В смысле быта и хлеба насущного жизнь по-прежне- му оставалась трудной. Конечно, с едой стало легче, и голода (я говорю только о Москве) уже не было. Но все равно, чтобы хоть сколько-нибудь сносно просуществовать, продолжали выкручиваться, кто как мог. Наша соседка по дому, врач, завела корову. Держала она ее, разумеется, не в квартире на четвертом этаже, а где-то в сарае на окраине, пополняя свой бюджет продажей молока, в первую очередь жильцам своего дома. Ее комната превратилась в подобие молочной фермы: всюду стояли бесчисленные бидоны, банки, бутылки и кружки с молоком, простоквашей, сметаной, в конце концов муж не выдержал этой

сельской идиллии и сбежал.

Всякие сладости, как и многие другие продукты, стоили дорого, а порой хотелось угостить друзей. Тогда придумали печь «миндальные» печенья из овсянки, способ их приготовления, как и другие кулинарные открытия, распространялись с необыкновенной быстротой и брались на вооружение. Москвичи делились друг с другом не только рецептами отечественного изобретения, но, например, выкройками и советами, как экономнее сшить юбку-шестиклинку, почерпнутыми из «Британского союзника», очень популярной тогда в России газеты.

Но главной проблемой оставалась одежда и обувь. Школьную форму, введенную еще в конце войны, поначалу можно было увидеть только на девочках из богатых семей. У нас в ней впервые появилась падчерица Руслановой. Продолжали изредка выдавать ордера особо нуждающимся. Мне тоже, в конце концов, дали ордер на темное платье, отдаленно напоминающее шерстяное, хотя строго говоря я под эту категорию не попадала, потому что была у мамы одна, а в первую очередь помогали многодетным семьям; форма у меня появилась только в девятом классе. Однажды в школе раздавали вещи, присланные из Америки. Сейчас это назвали бы гуманитарной помощью. Тогда это тоже, разумеется, было вызвано желанием помочь, но, судя по тому барахлу, которое собрали американские дамы-благотворительницы, они представляли себе «варварскую Россию» как мисс Жаксон из «Барышни-кресть- янки» с той только разницей, что та наблюдала ее из окна помещичьего дома, а те из-за океана столетием позже. Мне досталось абсолютно вылинявшее, к тому же неравномерно, платье. Поначалу я даже ему обрадовалась, но, сшитое из какой-то стекловидной материи, оно не впитывало ни одну краску, и поносить его не пришлось.

В ту пору чаще покупали что-нибудь с рук, чем в магазинах. Рынки были завалены трофейными вещами, в первую очередь, тканями. Летом Москва запестрела цветастыми платьями из искусственного шелка. Эти покупки сопровождались бесчисленными слухами вроде того, что «…принесла домой, а на месте цветов — дыры». Когда мне исполнилось 16, мама решила, что нельзя же вечно ходить в обносках и донашивать шитое-перешитое старье, и купила тоже трофейный, но белый — он стоил дешевле, — как тогда говорили, отрез. Первое шелковое платье после войны мама сшила не себе, а мне, хотя я была девчонка, а мама еще вполне молодая женщина. И так всю жизнь.

Иногда в магазинах все же можно было достать относительно дешевые тряпочные босоножки или тапочки. — к ним относились так бережно, что, когда начинался дождь, все разувались и

шлепали по лужам босиком.

Теплых вещей тоже очень не хватало, и когда в продаже стали появляться шерстяные кофты, они стали предметом всеобщего вожделения как женщин, так и девочек-подростков. Добыть их было трудно не только из-за нехватки денег. Как-то году в 48-м одна подружка подбила меня пойти в Мосторг (в отличие от Краснопресненского, Даниловского и других универмагов теперешний ЦУМ долго продолжал называться просто Мосторгом), где, как говорили, можно было выстоять кофты. Мы пришли в 5 утра (магазин открывался в семь) и встали в очередь, которая к этому времени уже плотным кольцом окружала магазин и прилегающий к нему сквер. Когда со звонком открылись. только с одной стороны, двери, очередь ринулась ко входу и дальше таким же аллюром по лестницам, насколько это позволяла давка, и все по большей части в отдел трикотажных вещей. Операция заняла у пас полдня, если не больше, но домой мы вернулись, прижимая к груди трофеи. В те же годы нередко мы с мамой сидели без копейки, так что не было даже на кино, хотя билет стоил рубль. А когда в 17 лет я захотела сшить юбку, мне пришлось продать коллекцию открыток, которую я долго и тщательно собирала, — метр хорошей шерстяной материи стоил триста рублей.

В 47-м отменили карточки и произвели денежную реформу. Слухи о ней распространились за несколько дней до того, как об этом было объявлено официально. Люди осаждали сберкассы, кто забирая, а кто, наоборот, мечтая положить на книжку имевшиеся деньги. Случалось, что сначала клали, а потом опять брали и наоборот. Магазины опустели, некоторые просто закрылись. Расхватали все, что только можно, вплоть до унитазов и зубоврачебных кресел; потом сами не знали, зачем купили, и что теперь со всем этим делать. Те, у кого деньги лежали в сберкассе, пострадали меньше, хотя и им была обменена не очень значительная сумма один к одному, а те, у кого деньги были дома, в кубышке, потеряли все. Нас с мамой, как и очень многих, это вообще не коснулось, сбережений ни на книжке, ни на руках не было.

Когда, уже в начале пятидесятых годов, я просила у мамы денег на капроновые чулки, две ее приятельницы в таких случаях любили повторять: «Мы в твои годы, во времена военного коммунизма, ходили в валенках». И сейчас, глядя на своих многочисленных внуков, которые в свои десять или восемь лет успевают сменить не одну пару часов, хотя их родители крутятся как белки в колесе, да просто на износ, чтобы заработать на жизнь, мне хочется им сказать: у меня первые часы появились в

20 лет, но, вовремя вспомнив про военный коммунизм, молчу и не говорю.

Всю войну и после войны у нас, да и не только у нас, — это было всеобщим бедствием обитателей верхних этажей, — протекала крыша. Весной с таяньем снега лило так, что половину комнаты мы заставляли тазами, тазиками, корытами и просто кастрюлями, а кровати и другие необходимые вещи отодвигали в дальний от окна конец комнаты. Потолок в конце концов не выдержал ежегодных наводнений и рухнул, как раз над маминым рабочим столом. Мама, по счастью, в этот момент разговаривала по телефону, иначе неизвестно, чем бы все кончилось, — слой штукатурки был толстенный, — ведь дом старый, да и обвалился кусок чуть не с четверть потолка. Мама и до этого, а теперь с удесятеренной энергией, обзванивала бесконечные рай- и мосжилотделы, обращалась к каким-то депутатам, но все безрезультатно. Наконец, отчаявшись чего-нибудь добиться, она написала, уж не знаю по чьему совету, тогда считали, что иногда это срабатывает, Сталину. Через неделю, если не раньше, крышу починили, но аккуратно только над нашей комнатой, а еще через несколько дней откуда-то позвонили и, не назвавшись, поинтересовались, починена ли крыша.

Летом 48-го года родные моей подруги пригласили меня вместе с ними в Коктебель. Я, разумеется, была на седьмом небе от такой перспективы. Коктебель в первые послевоенные годы совсем не походил на теперешний, да и на довоенный, каким я его смутно, но все-таки помнила по детским поездкам. На берегу стоял только волошинский дом, верх которого частично занимала его вдова, Мария Степановна. Нижняя часть и маленькие домики в парке принадлежали Литфонду и позднее стали именоваться Домом творчества. Все другие здания и корпуса домов отдыха на побережье перед нашим отступлением взорвали. Марья Степанна металась между Феодосией, Симферополем и Старым Крымом, хлопотала и умоляла не трогать дом. Спасло только чудо: в последней инстанции, где она обивала пороги, начальника срочно вызвали, больше он не вернулся, и дом просто не успели взорвать. В хлопотах, связанных с тем, чтобы и мастерская и часть комнат по-прежнему оставались в распоряжении М.С., ей помогал Павленко, бывший тогда влиятельным человеком в Крыму. М.С. рассказывала, что каждый раз, уходя от нее, он уволакивал под пиджаком кипы книг из волошинской библиотеки.

В парке росли только маслины, несколько акаций, дававших очень мало тени, да еще кусты туи и тамариска («…скупой посев айлантов и акаций в ограде тамарисков…». — Волошин). Ни кипарисов, ни сирени, ни иудина дерева, ни глициний,

разведенных позднее, и в помине не было. На дорожках под ногами шуршали камушки. Отдыхающих в Литфонде насчитывалось не более 50 человек, а уж «диких», вроде нас, просто единицы. Кроме небольшого, с единственным тентом кусочка пляжа перед Литфондом, берег был совершенно пустынный. Вдоль побережья на определенном расстоянии друг от друга стояли пограничные посты. В деревню в единственный магазин «сельпо» иногда завозили хлеб или керосин, — тогда выстраивалась огромная очередь. Мальчик-продавец целыми днями читал «Графа Монтекристо», так как торговать было нечем. Все продукты, — мука, крупы, сахар, постное масло, — везлись из Москвы. На месте можно

А.Баранович. 1946 г.

было купить только помидоры, кукурузу, поспевавшие позднее сливы, виноград, дыни, редко яйца. Из дальних деревень иногда приносили сметану и сливочное масло, завернутое в виноградные листья. От рыбаков изредка перепадала рыба.

Готовить приходилось в основном на печке.

После десяти вечера Коктебель погружался в темноту, так как электрический движок переставал работать, и приходилось сидеть с керосиновыми лампами или со свечами. Молодежь из Литфонда, — несколько студентов, с которыми мы до обеда не вылезали из моря и заплывали Бог знает как далеко, а когда спадала жара, играли в волейбол, — на чем свет кляли этот скучный, выжженный Коктебель, где не было никаких развлечений, даже кино (только танцплощадка в «Медсантруде», — еще один дом отдыха в стороне от берега), и рвались в Ялту. А начиная с конца пятидесятых, когда Коктебель стал самым модным и престижным местом на южном берегу, те самые студенты, а теперь журналисты или дипломаты, считали непременным проводить отпуск именно в Коктебеле и сводить дружбу с М.С.Волошиной, на которую прежде не обращали никакого внимания.

По поводу «Медсантруда» мне вспомнилась пародия на Пастернака, сочиненная одним моим знакомым.

«По Коктебелю взад, вперед все ходят люди, Танцует вечером народ все в «Медсантруде»…Не отдохнули ни на миг ни ум, ни тело, Найти хотела сердолик, найти хотела. А впрочем, камни — лабуда, вы в Коктебеле Их не искали никогда и не хотели».

Когда в Москве я прочитала ее Борису Леонидовичу, он страшно смеялся.

Была еще пародия и на Есенина: «Коктебель ты мой, Коктебель, от того ль что я с севера, что ли, я теперь даже в «Коктейль-холле» вижу имя твое, Коктебель».

Со слов М.С. я знала, как происходила депортация татар и болгар. Им не дали даже несколько часов, чтобы собрать хотя бы самое необходимое в дорогу, погрузили на подводы и отправили в Казахстан. Многие, особенно старики и дети, не вынесли переезда. Добравшиеся до места ссылки, несмотря на все трудности, благодаря своему удивительному трудолюбию, в конце концов неплохо там зажили, но все равно рвались на родину. Когда же в последние годы уже дети и внуки тех, кто был сослан, начали возвращаться, нетрудно было догадаться, чем это может кончиться, что и подтвердили события последних лет.

А тогда на их месте появились украинские переселенцы, приехавшие тоже не от хорошей жизни и не всегда по своей воле, поначалу проклинавшие эту скудную землю, которую так трудно было обрабатывать, и не желавшую родить картошку. Виноград они научились разводить не сразу.

Все татарские наименования — Отузы, Козы, Ба- рыколь, которые сейчас уже никто не помнит, — исчезли, их заменили

Щебетовки, Морские, Солнечные долины и другие. Слава Богу, что хоть горы сохранили свои названия, но сейчас и их мало кто знает. Особенно грустное впечатление производила почему-то долго остававшаяся незаселенной немецкая колония в Судаке, с аккуратными домиками и чудесными фруктовыми садами, так же как и заброшенные татарские виноградники на горных склонах.

Гулять мы бегали в бухты или горы (занятие, которым тогда увлекались очень немногие, и если бы так продолжалось и дальше, возможно, не пришлось бы устраивать заповедник и наводить всякие строгости), — бродить по холмам было не так интересно и не так безопасно из-за оставшихся мин, на которых время от времени подрывались коровы. В море тоже попадались мины, поэтому пассажирские пароходы ходили только днем, а по ночам стояли у берега, — в чем я убедилась на собственном опыте, возвращаясь в 52 году с Кавказа в Крым на огромном трофейном теплоходе, бывшем «Адольфе Гитлере».

По вечерам у Марии Степановны собирались друзья, иногда и мы с подругой заскакивали туда послушать песенки или стихи, правда, чаще удирали на танцплощадку. Хотя и в волошинском доме проводили много времени, слушали рассказы М.С., когда она показывала кому-нибудь мастерскую или кабинет, распевали вместе со всеми особенно если кого-то провожали, все ту же («В гавани, в далекой гавани маяки огни зажгли…», прощальную алигеровскую «Милый край, горючий и колючий, до свиданья, кончен разговор», любимого всеми «Кречета» — «В золоте закат, Прожитого дня не вернуть назад».

Пела иногда еле слышно своим сипловатым голосом сама М.С. Необыкновенно музыкальная, она удачно, как уже вспоминала мама, подбирала мелодии ко многим стихам Волошина («Небо в тонких узорах хочет день превозмочь, а в душе и озерах опрокинулась ночь»), Вс. Рождественского («Что вашего имени проще, но вслушайся только, и в нем и Волга, и синие рощи, и в черной смородине дом»), Ф.Сологуба («Заря-заряница — красная девица, Мать — Пресвятая Богородица»)

Все рученьки оббила, Под окнами стучала, Приюта не нашла… С плеч своих сняла Святое покрывало, Все село покрыла И всех людей спасла.

В 20-е годы она спела ее Сологубу, ему понравилось и ее переложение, и исполнение.

Особенно весело бывало 17 августа, в день именин Волошина. Мы, молодежь, заранее репетировали спектакли, шарады, с утра друзья несли скромные дары, дыни, виноград, другие фрукты (цветов тогда в Коктебеле не водилось), сочинялись пародии, шаржи. Однажды Н.А.Северцова сделала

целый альбом, изобразив почти всех живущих в то лето коктебельцев. На одном из них моя мама в пижаме и с палкой, а за ней гуськом, как пай-девочки, мы с подругой: внизу надпись: «Детей я выведу из мрака путем тернистым Пастернака».

А уж один вечер я не забуду никогда, «…запомню и не разбазарю», — как написал раньше поэт о концерте того же пианиста. Живший в то лето в Коктебеле Г.Г.Нейгауз по своей всегдашней доброте и великодушию, снизошел до старого, вдребезги расстроенного рояля М.С. и играл чуть ли не всю ночь. Я устроилась у раскрытой двери на балконе под таким звездным темным и низким, как это бывает только на юге, небом, напряженно вслушиваясь одновременно в шум прибоя и звуки Шопена, лившиеся из-под пальцев замечательного музыканта.

Долгие годы дом продолжал притягивать людей. «… Припомни тот плавучий, многооконный дом и то, что был ты лучше, живей и чище в нем» (Благинина). И ее же «И жизнею живою души своей живет».

После смерти Марии Степановны ласточки, всегда снующие над головой в бесчисленные гнезда под стропила дома, пропали. Почему?.. Не знаю.

В 51 году я поступила на романо-германское отделение филфака университета. Хотя в те годы туда стремились немногие, конкурс все равно был большой. Основная масса, как мальчиков так и девочек, шла в технические вузы. Из нашего класса тоже почти все выбрали этот путь, а самые отстающие, за редким исключением, подали документы в медицинские и были приняты. Тогда там был самый маленький конкурс, очень мало кто шел туда по призванию, и в основном девочки. Эти бывшие троечницы долгие годы заполняли и сейчас еще заполняют больницы и поликлиники. Через несколько лет положение в корне изменилось: медицинские институты превратились в самые престижные, и попадать туда стало неимоверно трудно. Таким же пристанищем для не слишком способных и не имеющих определенных стремлений долгие годы оставался юридический факультет.

Во всех вузах медалисты проходили только одно собеседование. На филфаке устроили три: общее, по русскому языку и литературе и по иностранному языку, что было если не труднее, то во всяком случае не легче, чем сдать экзамены. Первое проводил на нашем отделении заведующий кафедрой западной литературы Самарин. Собеседование, на котором я впервые с ним столкнулась, вылилось в форменное издевательство и намерение стереть меня в порошок, вызванное в первую очередь, очевидно, моим некомсомольством, а может быть

у меня на носу было написано что-нибудь не то. Когда он предложил перечислить известные мне пьесы Кальдерона (я поступала на испанское отделение), и я в числе других назвала «С любовью не шутят», которую чуть ли не накануне видела в театре, а ее афиши были расклеены по всей Москве, он нагло расхохотался мне в лицо, и два ассистента из подхалимажа дружно ему вторили. Не думаю, что ему была известна только пьеса Мюссе с таким же названием. Это явно было продиктовано желанием сбить меня с толку и завалить. А после того, как я рассказала все, что мне было известно о современной Испании и что я о ней читала, он ошарашил меня вопросом, носившим уже чисто политический и провокационный характер, которого можно было бы ожидать от следователя КГБ, а не от литературоведа: «Вы что же, на стороне Франко?». А я даже не упомянула о «По ком звонит колокол» Хемингуэя, ходившего по рукам, но изданного по-русски много лет спустя. Одним словом, изгалялся, как мог. Думаю, не видать бы мне университета, если бы не заступничество декана А.Н.Соколова, с которым мы вместе уходили в 41-м пешком в Москву из Свистухи.

Правда, меня чуть не выкинули из списков поступающих в самом начале. Подаю документы, заполняю анкету, в графе «Родители» пишу: «Отца нет». Секретарь декана всполошилась, в тот же день позвонила по телефону и вызвала маму в деканат. Спрашивает, в чем дело, почему я так странно написала. «Так он. вы говорите, жив-здоров, работает в Москве? Тогда срочно принесите справку с работы, из домоуправления, а то я даже не могу принять заявления у вашей дочери». (В 51-м году «Отца нет» значило только одно — арестован).

С моим отцом, Александром Емельяновичем Рае- вым, у меня никогда не было особенно близких отношений. Мама рассталась с ним незадолго до моего рождения и не хотела, чтобы я в детстве с ним встречалась. Познакомилась я с ним во время войны. Он работал на оборонном заводе, вторая семья была еще в эвакуации, и он довольно часто появлялся у нас дома. Помогал немного деньгами, но приходил, скорее всего, просто от бездомности и неприкаянности. Мне он казался замкнутым и мрачноватым, а может быть я сама в его присутствии замыкалась и настоящих отношений не сложилось.

Но, возвращаясь к Самарину, в дальнейшем, когда мне приходилось его наблюдать, мое мнение о нем не изменилось. В те годы это была самая мрачная фигура на факультете, если не считать Ахмановой. Он разогнал со своей кафедры почти всех порядочных людей… Рассказывали, что в год моего поступления он кричал в приемной комиссии по поводу одного абитуриента,

что Дольбергу не место в университете. На нашем курсе было не более двух-трех студентов евреев, зачисленных, очевидно, каким-то чудом. На одном из производственных совещаний, до которых Самарин был большой охотник и присутствовать на которых было необходимо, после того, как староста французской группы самым гнусным образом донесла на тех, кто пропускал лекции, он, похвалив ее, обратился к другим, заявив, что вряд ли подобное явление наблюдается только в одной группе, так почему же тогда другие старосты молчат. Одного старшекурсника, метившего в аспирантуру, — знала я его не по университету, — я спросила в гостях у общих друзей, как он относится к Самарину. «С ним хорошо работать», — ответил он. Даже близким знакомым боялись откровенно высказывать свое мнение люди, ставшие потом очень смелыми, а вопрос-то был в сущности невинный.

В не совсем сходной ситуации, но могущей привести к тем же последствиям, некоторые вели себя совсем иначе. Моя подруга, учившаяся на филфаке ленинградского университета, была одной из лучших студенток на отделении, так что все прочили ее в аспирантуру, но, заполняя очередную анкету, в графе «Национальность», она написала «еврейка», хотя по отцу была русская и носила русскую фамилию, а происходило это в разгар борьбы с космополитизмом. Сделала она это совершенно сознательно, именно потому, что слишком многие поступали наоборот, за что, разумеется, их нельзя винить. Двери аспирантуры перед ней захлопнулись, и она отправилась по распределению в Днепропетровск, где и проработала несколько лет.

От этого же знакомого мне хотелось услышать, что он думает по поводу работы «Марксизм и вопросы языкознания», которую «внедряли как картошку при Екатерине» и которую студентов и преподавателей заставляли цитировать на каждом шагу: без ссылок на этот научный шедевр не обходилась ни одна курсовая, ни одна статья, ни дипломная, ни диссертация. «В ней много здравых мыслей», — услышала я от него.

В таком же роде повела себя одна наша преподавательница, бывшая чем-то вроде куратора группы, когда мы пожаловались ей на слишком свирепствовавшую преподавательницу марксизма. Отличалась она не только этим: она требовала, чтобы мы, упоминая, к примеру, Троцкого или другую одиозную фигуру, говорили не просто «Троцкий», а «предатель Троцкий» и вообще выступали «побоевитее». И не уставала напоминать: «Товарищ Берия ведает у нас кое-чем». И вот, посидев на семинаре, наша преподавательница испанского заявила: «Вам просто повезло, я еще не разу не встречала такого замечательного преподавателя

марксизма». Ее, разумеется, легче извинить, — говорилось это в стенах университета перед студентами, среди которых нашлось бы немало охотников заявить, куда следует, ответь она по-другому, к тому же еще она была еврейка.

Лет через десять я столкнулась с нашей мегерой в коридоре какой-то ведомственной поликлиники. Она постарела и с трудом передвигала распухшие ноги, так что мне невольно вспомнилась «Правая кисть» Солженицына.

В эти же годы мама подрабатывала в <-Пионерской правде», отвечая на письма ребят. Но для того, чтобы получить на это право, даже не для зачисления в штат, необходимо было представить две рекомендации членов партии. Мама стала в тупик — среди близких знакомых таких просто не существовало. Наконец все-таки вспомнила кое-кого из друзей, которых знала еще по чеховской студии (теперь они играли в МХАТе), и эти старые друзья отказались дать требуемые рекомендации. Не помню уж каким образом маме удалось их раздобыть. В сущности, эти поступки одного и того же порядка, и градации не так уж существенны, а порождались они все тем же чувством страха.

Атмосфера в университете была гнетущая, и в отличие от школьных лет, студенческие годы я вспоминаю без всякого удовольствия. В каждой группе и не только в это время были стукачи. У нас эту функцию выполняла староста, уже взрослая женщина, член партии. Она брала уроки латыни у одного моего знакомого и очень интересовалась мной и все тем же, никому не дававшем покоя фактом, почему я не вступаю в комсомол. О ее расспросах тот поторопился поставить меня в известность.

Помимо «работы» стукачей существовали другие более невинные формы доносов. Одна активная девица из параллельной группы, присутствовавшая на нашем коллоквиуме по западной литературе, поспешила написать в стенгазете о том, как мы плохо отвечали на вопросы. Между прочим, от нее же на воскреснике при постройке университета, куда нас гоняли убирать мусор, когда мне показалось, что мы достаточно потрудились и можно разойтись по домам, я услышала: «А коммунизм кто будет строить?». Нам не оставалось ничего другого, как снова впрячься в тачки. Признаться, как до этого, так и после, я слышала подобное только с трибун или в кино. Впрочем, стоит ли удивляться, когда теперь, при том, что известно если не все, то более чем достаточно, опять уже давно «не призрак и не по Европе…»

Нельзя сказать, чтобы состав студентов (я говорю о своем курсе) за редчайшими исключениями был особенно ярким.

Немногие занимались всерьез и с увлечением. Больше всего это относится к испанскому отделению, куда лишь единицы подавали заявления, а остальные зачислялись из тех, кто не набрал достаточное количество очков, на другие языковые кафедры. Почти все девчонки говорили только о тряпках, прическах, увлекались Шульженко, рассказывали скабрезные анекдоты, а на старших курсах, вышедшие замуж, делились интимными подробностями супружеской жизни. Те, которые были на три-четыре потока старше или, наоборот, поступили после 53-го года, резко отличались в лучшую сторону. Самое безотрадное впечатление производили испанцы, те самые, которых маленькими детьми вывезли из Испании. (Исключение составляли те, кто приехал с родителями и жил в семье). Они плохо владели и русским, и испанским, а остальные предметы давались им с еще большим трудом. Они воспитывались в интернатах и были очень плохо подготовлены, а вернее просто заброшены. Их судьба трагична от начала и до конца. В какой-то мере это относится и к нашему преподавателю разговорного испанского камарада Месегеру, как нам велено было его величать. По приказу испанской компартии его, как и многих других, заставили вернуться на родину, чтобы там опять готовить революцию. А он только что получил комнату, о которой долго мечтал, дочка училась в русской школе, да и сам он обрусел, и ему совсем не хотелось уезжать. В Испании он порвал со всякой подпольной работой и занимал скромную должность бухгалтера на фабрике брата.

Что сказать о составе преподавателей? На кафедре зарубежной литературы стараниями Самарина не оставалось почти никого сколько-нибудь достойного. Одним из исключений был Е.Д.Михальчи, разительно отличавшийся от других и которого Самарин, в конце концов, выжил-таки из университета. Е.Д. мог подшучивать над нами, даже издеваться, сталкиваясь с полным невежеством, говоря в таких случаях, что девственность не всегда добродетель. Но при этом проявлял необыкновенную чуткость на экзаменах и всячески избегал ставить тройки, особенно не москвичам, прекрасно понимая, что для них значит стипендия, но и пятерки ставил очень редко. Как-то он устроил семинар по испанской литературе. Я, хоть и была лингвистом, тоже ходила туда. По семейным обстоятельствам в конце семестра мне пришлось отказаться от семинара и от доклада, который я готовила. Узнав про меня от девчонок и увидев в коридоре, он разлетелся ко мне, прося дать ему зачетку^, чтобы проставить отметку. Я была тронута, но, поблагодарив, отказалась и объяснила, что мне, как лингвисту, иметь отметку

по литературоведению не обязательно. Однажды во время сессии наша группа плохо договорилась с параллельной, и в результате утром на экзамен никто не явился. Михальчи, которому мы должны были сдавать, никого не дождавшись, ушел домой. Именно в этот день сообщили об аресте врачей. Когда его с извинениями уговорили вернуться (на что согласился бы не всякий) и принять экзамен, он начал каждого строго допрашивать «Почему опоздали?», когда дошла очередь до меня, он только взглянул на мое мрачное лицо и ничего не сказал.

На языковых кафедрах среди преподавателей было гораздо больше достойных и порядочных людей. Особенно выделялась своей культурой и интеллигентностью Ж.С.Покровская, занимавшаяся с нами латынью. Как-то, когда наша группа собиралась на вечер, а дело было в Страстную субботу, — «Какие же вы нехристи», — возмутилась она. Такие слова в стенах университета произносились не часто. По поводу сосланного С.Маркиша она во всеуслышание заявляла, что студенты, как он, бывают раз в пятьдесят лет. А уж это был из ряда вон выходящий поступок. Но. возвращаясь к студенческому вечеру, хочу отметить, что в церковные праздники, а особенно на Страстной, чуть ли не до конца 80-х вечера и прочие увеселения устраивались совершенно сознательно и планомерно, особенно в школах и институтах, чтобы, не дай Бог, кому-нибудь не пришло в голову отправиться в церковь.

Было на языковых кафедрах немало и других замечательных преподавателей: заведующая кафедрой испанского языка Э.И.Левинтова, которую я нередко встречала на концертах в консерватории. И даже на английской кафедре, несмотря на то, что ее возглавляла Ахманова, были порядочные люди и хорошие педагоги: Э.М.Медникова, Л.Н.Натан, отличавшаяся еще к тому же необыкновенной добротой. В частности, в очень трудный период моей жизни она мне страшно помогла (маме тогда оперировали запущенный рак, и было мало надежды на благополучный исход). В тот год я писала у Лидии Николаевны курсовую и из-за маминой болезни недостаточно хорошо с ней справилась. Когда Л.Н. предложила мне внести некоторые изменения и дополнения, я объяснила, что целыми днями дежурю в больнице и согласна на тройку, а это означало на полгода остаться без стипендии. Она поставила мне четверку или даже пятерку, за что я ей была бесконечно признательна. Как ее терпела Ахманова, я никогда не могла понять.

Не могу не вспомнить и А.Г.Елисееву, одну из самых талантливых преподавателей иностранного языка, с которыми мне когда-либо приходилось сталкиваться. И это не только мое

мнение, но и всех тех, кому посчастливилось у нее учиться. Благодаря ей я просто влюбилась в английский и поняла, как надо заниматься языком, а проведенные до этого два года в испанской группе просто пропали даром, так что овладевать испанским мне пришлось уже самостоятельно после университета, когда я взялась за переводы.

Я сказала «два года», потому что, когда я перешла на третий курс, испанское отделение закрыли. «Опрокинулась романтическая лодочка 39-го года», — как выразился И.Мельчук, учившийся там. Эту фразу передавали из уст в уста все испанисты, — Игорь был очень яркой и популярной личностью на факультете и покорял своей непосредственностью и общительностью, а также неуемной энергией как преподавателей, так и студентов. Перед занятиями он разучивал со всем отделением испанские песни, в основном революционные, вроде Bandera Rosa и др. Я не могла заставить себя вставать на полтора часа раньше, но остальные девочки любили и регулярно посещали эти спевки, а я им подпевала только на обязательных для нас демонстрациях. Позднее он затеял воскресные походы, которые потом так и стали называться испанскими, и продолжавшиеся вплоть до его отъезда; в них принимали участие не только испанисты, но все желающие. Он же один из первых на факультете занялся семиотикой. А испанское отделение, когда я уже кончала, снова восстановили.

В отличие от школы, где я участвовала во всех затеях и развлечениях, в университете, за редкими исключениями, меня не тянуло общаться со своими сокурсниками помимо занятий. Хотя со многими и из своей, и из параллельных групп у меня были вполне дружеские отношения. Но однажды я соблазнилась пойти на вечер, устроенный в клубе для французского отделения. Сначала долго и скучно выступал Арагон, йотом пела Обухова (из-за нее-то я и пошла туда, она в эти годы уже очень редко давала концерты), а затем преподнес свой номер Образцов: он привез пластинки Монтана, тогда у нас еще никому неизвестного. Сергей Владимирович вначале пересказывал содержание песенки, а потом включал то ли радиолу, то ли патефон, слышимость была ужасная, и после первой пластинки он пошутил: «Раз аудитория образованная, то может не стоило бы разъяснять смысл, но теперь, как ему кажется, следовало бы рассказать и звук». В общем, был, как обычно, в своем амплуа, но песенки всем понравились, и преподносил их Образцов очень остроумно. Так с его легкой руки началась популярность Монтана в России.

Что касается моих взаимоотношений с однокурсницами, то дело вовсе не в том, что я смотрела на них сверху вниз. В школе я

дружила со всеми без разбора и больше всего именно со шпаной, которая из-за неуспеваемости после 7-го класса разошлась, к моему большому огорчению, по ремесленным училищам. Одна моя подружка была из семьи московских ассирийцев- кинто; они целым поселением жили в каких-то полусараях рядом со школой. После уроков я часто усаживалась рядом с ней и чистила туфли всем желающим. Здесь же, в первую очередь из-за идеологической атмосферы и неприязни к слишком ярым комсомольским деятелям, которых было более чем достаточно, я держалась замкнуто почти со всеми, кроме некоторых исключений, о которых уже упоминалось. А с комсоргом группы у меня как-то произошла стычка отнюдь не на идеологической почве. Мне было 20 лет, когда я вышла замуж, — в ту пору это было редкостью, и ранние браки были не приняты, — так вот эта девица ни с того, ни с сего как-то брякнула: «Занимаетесь всяким развратом»… Я не смогла влепить ей пощечину — нас разделял стол, за которым сидели другие девчонки, но потребовала, чтобы она немедленно взяла свои слова обратно, чего она, разумеется, не сделала. Тогда я посоветовала ей последить за нравственностью своих друзей, комсомольцев, особенно, в общежитии на Стромынке, которое было притчей во языцех; «личные» дела его обитателей разбирались почти на каждом собрании. Подоплека этой стычки, я думаю, все же была идеологической. У нас с ней, невзирая на то, что она была та еще комса, были вполне нормальные отношения, но не чувствовать во мне чуждого классового элемента она не могла.

Чуть ли не за неделю до того, как решились объявить народу о смерти Сталина, мы ежедневно для пополнения словарного запаса переводили на испанский бюллетени, печатавшиеся во всех газетах, о состоянии здоровья вождя, со всеми подробностями от температуры до наличия белка и лейкоцитов в моче.

В день смерти нас собрали в самой большой аудитории, коммунистической, на траурный митинг. У декана под стеклами очков поблескивали слезы; парторга, рыдавшую в голос и еле державшуюся на ногах, поддерживали с двух сторон под руки — самостоятельно передвигаться она не могла, а наша преподавательница марксизма, очень милая и добродушная женщина, на семинаре (правда, никакого семинара в обычном смысле не было: все только вздыхали и сокрушались) так выразила свои чувства: «Ну что у меня самое дорогое? Дочка. И если бы сейчас предложили, отдай, и он воскреснет, я бы отдала». Сказано это было совершенно искренне. После марксизма нам предстояло слушать 10.Б.Виппера, читавшего западную

литературу. Он пошел в аудиторию и приступил к очередной лекции, чем вызвал всеобщее негодование студентов — они не могли понять такой черствости и равнодушия и возмущенно галдели в перерыве: «Рассуждать о Вольтере в такой день, как будто ничего не случилось!»

Я не собираюсь говорить о настроении подавляющего большинства, — об этом достаточно много в разное время сказано и написано всякой правды и неправды. Упомяну только о том, что, когда я пришла домой и рассказала маме о случившемся (газет мы не получали и радио включали редко), мама перекрестилась со словами «Слава Богу!» и продолжала работу. Разумеется, такое отношение было далеко не единичным.

V. Несколько штрихов из жизни 50-х—60-х

Ни смерть Сталина, ни доклад Хрущева со всеми его последствиями не всколыхнули гнилую заводь, именуемую филфаком; лишь небольшая рябь пробежала по поверхности, самую малость разрядив атмосферу. По рукам стали ходить тетрадки со стихами из «Живаго». Однажды на занятиях француженка, правда не наша, а из иняза, предупредила: смотрите, не пропустите сборник Пастернака, он вот-вот выйдет. Раньше такое и вообразить было невозможно (я говорю о словах, а не о книге стихов, которая так и не появилась — набор рассыпали.) Ведь всего три года назад мы с курсом смотрели в театре Революции (Маяковского) не помню чью пьесу, где героя, как элемент разложившийся, прорабатывали и исключали из комсомола еще и за то, что он читал друзьям Пастернака. Зал же затих и с волнением слушал «Я помню осень в полусвете стекол…», — как и где еще простые мальчики и девочки могли узнать эти стихи?

А вот как знакомили народ с завещанием Ленина: бегу по ГУМу в поисках башмаков для дочки, и вдруг вместо: <<На первой линии второго этажа вы можете найти…» — «Сталин груб, ему нельзя…», и пока я бегала из отдела в отдел, все повторяли и повторяли.

Только одна студентка из моей группы обсуждала со мной доклад Хрущева, — она была постарше и серьезнее других, и мы часто болтали с ней о самых разных вещах. Остальные девочки нашей группы вообще никак не реагировали на происходящее. Кроме вечеров и тряпок их мало что интересовало. В свое оправдание они вечно твердили: «Хорошо Ленке, у нее есть А., вот она и сидит в библиотеке, а нам что делать?» И правда, факультет невест каким был, таким и остался, только мальчики там в то время попадались редко. Где же еще

М.К.Баранович. 1953 г.

можно было встретить женихов, как не на общеуниверситетских вечерах? Некоторые подцепляли мужей в бюро (не брачных объявлений) комсомола, где немало великовозрастных и солидных деятелей протирали штаны, предпочитая это теплое местечко читальным залам и аудиториям.

Зато молодежный фестиваль в 57-м году взбудоражил всех, — первая массовая встреча с людьми из других стран. Не только на романо-германском и в институтах иностранных языков, где и студенты и преподаватели рвались работать переводчиками и всю зиму только и разговору было, что о предстоящем неслыханном счастье, но даже московские старушки долго еще рассказывали, как, сидя где-нибудь на Гоголевском бульваре, они объясняли иностранцам, как попасть в Лужники.

Перед изучающими в те годы иностранные языки вставала

проблема: где достать книги. На испанском отделении мы чуть ли не два года мусолили «Донью Перфекту» Гальдоса. Кроме нее и сборничков адаптированных или просто переведенных с русского текстов, практически ничего не издавалось. Английских было побольше. Продавались они в магазине иностранной книги на Кузнецком. Чаще всего там лежал «Овод», «Маленький оборвыш» и «Тэсс из рода Д'Эрбервилей». Позже стали печатать отдельные романы Диккенса, «Сагу» Голсуорси и еще кой-какую классику. Любимая нами преподавательница как-то заявила, что Тэсс она может представить себе нашей комсомолкой, а Флер — нет. Язык Голсуорси она ценила и любила повторять: это же художник. Вышедшую в 56-м году «Ребекку» через два дня изъяли из продажи, очевидно за безыдейность, и предали забвению до времен перестройки. Теперь перевели чуть ли не все романы Дафны дю Морье.

Из современной англо-американской литературы русскому читателю преподносились, большей частью, «Замок Броуди», «Сестра Кэрри», «Дипломат» Олдрид- жа (говорили, что в Англии о таком писателе и не слыхивали), «Пятая колонна» Хемингуэя, — как-никак был в Испании, — но, Боже упаси, только не «По ком звонит колокол»! Тогда считалось, что из-за Долорес Ибаррури, будто бы кричавшей: «Через мой труп!» Правда, теперешние знатоки архивов уверяют, что такая фраза нигде не зафиксирована, но всегда ли можно верить архивам, да еще при том, что до сих пор открыты далеко не все, а уж сколько уничтожено, — и говорить нечего.

Вышедшая в 46-м по-русски «Сага о Форсайтах» Голсуорси буквально покорила москвичей самых разных поколений. Примитивные читатели, «совершая экспансию в текст», как это теперь называется у филологов, обсуждали героев, их поступки, находили сходство у своих знакомых и друзей с характерами и судьбами персонажей, кого-то любили, кого-то нет. «Ненавижу Флер», — услышала я от своего друга после того, как мы одновременно с ним буквально проглотили за два дня роман. Стоя в очереди в раздевалку в музее или концертном зале, можно было услышать: «Ну, а как тебе Ирен? Или, опять же, Флер?».

Приходилось раздобывать книги либо у знакомых, либо в библиотеках. Существовал еще букинистический магазин иностранной книги на Никитской. Кроме дорогих изданий и всевозможных роскошных словарей, глядя на которые только слюнки текли — они были совершенно новые, явно привозимые определенным классом людей специально для продажи, попадались сравнительно дешевые, вроде таухницевской серии, выпускаемой в незапамятные времена в Лейпциге, за ними

охотились многие, и поймать что-нибудь интересное было непросто.

Последнее, что врезалось в память из университетской жизни — распределение, вылившееся в форменную экзекуцию. Главный каратель, разумеется, — Самарин. Он рвал и метал, стучал кулаком и орал так, что слышно было на других этажах. Подвергшиеся этой явно намеренной психической атаке выходили из аудитории с трясущимися руками и губами и покрасневшими от слез глазами. Не давшим расписку, что согласны ехать в любую глушь (и не в Саратов, а в какую-нибудь Тмутаракань), отказывались выдавать диплом. Замужних, а к последнему курсу таких набралось немало, или раздобывших персональную заявку, это не касалось, но орали и на них. И все равно москвичи каким-то образом ухитрились остаться на месте.

В начале пятидесятых, как и в конце сороковых, мало кто мог позволить себе такую роскошь, как поездки летом на юг или на возникшее Рижское взморье. Про тех (а это было модно), кто туда устремлялся, в Коктебеле сочинили песенку: «Кто не хочет жить на просторе, кто хочет тешить спесь, едет пусть на Рижское взморье, — снобам не место здесь». И все же эти снобы отличались от первых варварок, генеральских жен, оказавшихся в Риге сразу после войны и разгуливавших по городу в скупленных и принятых ими за вечерние платья, немецких кружевных ночных рубашках на потеху местным жителям, хоть им и было тогда не до смеха.

В санатории и дома отдыха ездили люди обеспеченные и совсем иного ранга — оплот, как называл их в последние годы жизни Пастернак, и те немногие, получавшие путевки в месткоме и по профсоюзной линии, и то не в сезон. О партийных шишках я вообще не говорю, — для них все было «спец.». Наш переулок (ул. Грановского), где находились Кремлевская больница и столовая, по субботам запружали черные ЗИСы и начальники. — «соль и гордость российской земли» (а может быть, их шоферы — ни по одежде, ни по лицу они не различались), — тащили к машинам огромные даже не свертки, тюки — спецпайки, и продолжалось это долгие годы.

Завзятые ценители красоты, пренебрегавшие трудностями быта, всю зиму копили деньги на поездку, отказывая себе решительно во всем, кроме разве что хлеба насущного. Отправляясь в дорогу, деньги зашивали в мешочки и прикалывали к лифчику (как поступал в таких случаях сильный пол — сказать не берусь). Ночью окна в поездах не открывали (не из-за кондиционеров), напуганные бесчисленными слухами, что через окна стаскивают крюками чемоданы с верхних полок.

Настроенные менее романтично ехали на Украину, где, как их уверяли, ведро вишен — рубль.

Кому-то удавалось погостить на даче у друзей или родственников (сейчас, к сожалению, подобное гостеприимство встречается редко), некоторые уезжали в деревню к родным, а еще больше было таких, кто не ездил никуда. Подышать и полюбоваться цветами и зеленью ходили в скверы или на бульвар. Наша соседка, отправляясь каждый вечер с книгой в Александровский сад, неизменно повторяла: «Это моя дача». Тогда еще не выстраивались многокилометровые очереди в Мавзолей и не стояли всюду вагоны-уборные, — надо же было людям облегчиться, не портя при этом при- кремлевский парк, за чем, а может быть не только за этим, следили многочисленные милиционеры.

В некурортных местах, например на Кавказе, где мы жили в 52-м году в рыбачьем поселке между Гудаутами и Новым Афоном, нравы оставались еще столь патриархальными, что, когда муж появился на улице в шортах, точнее, просто в старых брюках, обрезанных до колена, старик-абхазец сделал ему замечание, объяснив, что у них это не принято.

Возвращаясь в Москву, мы сначала отправились морем с Кавказа в Крым. Ночью в Сухуми садились на невиданных размеров белый теплоход «Россия», бывший «Адольф Гитлер». Он оглушал и ослеплял грохотом маршей: я вспомнила о нем спустя много лет, когда смотрела «Амаркорд» Феллини.

Официальные советские нравы были куда строже: в 58-м году нас не пустили в феодосийский ресторан (днем!), потому что на мне были брюки. А по поводу советских нравов несколько иного порядка: ехали, естественно, третьим классом, ночевали на брезенте в трюме, но и днем на палубы первого и даже второго класса теплохода «Адольф Гитлер» — «Россия», бороздившего водные просторы нашей родины широкой, где, как уверяли, «человек проходит как хозяин», публику из трюма почему-то не пускали.

Выставка Дрезденской галереи, открывшаяся в 55-м году, вызвала необычайный ажиотаж и была первой, на которую ежедневно выстраивалась многочасовая очередь, после нее уж ни на какую другую невозможно было попасть, не отстояв несколько часов, если у тебя не оказывалось знакомых или друзей среди сотрудников музея. До этого Эрмитаж, например, просто пустовал. Мне повезло, и благодаря нашему приятелю, я могла любоваться выставленными шедеврами сколько угодно.

Работники музея и другие искусствоведы, водившие экскурсии, срочно принялись за изучение Библии. Раздобыть ее

было не так-то легко, но как иначе понять и объяснить другим тициановского Иисуса с динарием или рембрандтовскую старуху, ищущую драхму, и множество других картин, написанных на библейские сюжеты.

Терялись и смотрители. На вопросы, вроде, «Где найти Эрну Кригер» (имя сотрудницы музея), — «Она висит в третьем зале», — отвечали они. Возможно, конечно, что такие анекдоты сочиняли музейные острословы. За давностью лет разве проверишь: «Иных уж нет, а те далече». Не слишком искушенная публика больше всего восхищалась «Шоколадницей» Лиотара, и все же самая большая толпа подолгу теснилась перед Сикстинской Мадонной, хотя не кто-нибудь, а Толстой, по его собственным словам, сидел, сидел, протирал штаны и увидел только — родила девка сына… Поразительно, как часто гений не в состоянии оценить другого гения.

На выставки наших скульпторов и художников еще можно было свободно попадать. Совсем немного народу было на маленьких выставках Фалька и Фонвизина на Патриарших прудах. На выставке Эрзи — тесновато; какое-то время им очень увлекались. На Коненкове и Матвееве — посвободней. На том же Кузнецком впервые выставленные картины позднего Рериха с бесконечными Гималаями, завораживавшими многих; нужно было постоять в очереди, но недолго.

Большое количество людей привлекла и выставка чешского стекла в Манеже. Так естественно, что не избалованным красивыми вещами людям захотелось полюбоваться на и впрямь изумительные изделия из стекла и хрусталя, — ведь только Любови Орловой и другим персонам того же ранга удавалось в 30-е, 40-е, 50-е и прочие голодные десятилетия собирать коллекции цветного стекла, картин, бриллиантов и чего угодно, — это уже дело вкуса. Находились ведь и такие, которые в блокадном Ленинграде выменивали на хлебную корку мебель красного дерева и другие раритеты. Это не голословное утверждение; просто не хочется называть имена. (А может быть, все-таки стоит?)

Из промышленных выставок первой была английская, если не считать китайской, проходившей еще как отголосок «Москва — Пекин…» и «…Сталин и Мао…» и нашей сельскохозяйственной, второй после довоенной, на которую мы сдуру потащились. Понять не могу, с чего нам вздумалось поглазеть на эту монументальную, как и положено в тоталитарном государстве, потемкинскую деревню. Моей подруге, работавшей переводчицей в одном из павильонов, англичане преподнесли перед закрытием чайный сервиз и два четырехтомника Шекспира в роскошном

издании. В следующую ночь павильон (киоск) был ограблен; унесли и подаренный сервиз, и один томик Шекспира из того футляра, что предназначался для меня, свой Ирина успела забрать домой. Оставалось только гадать, почему ворам потребовался только один том великого классика.

Спустя год или два мы с мамой побывали на такой же французской выставке. Интересовали нас в основном книги, поэтому по дороге к книжному павильону мы только краешком глаза взглянули на тонкие трикотажные кофточки — прообразы будущего головокружительного шествия джерси (прокатившегося по всей стране если не на бедрах и плечах, то в мечтах), нашедшего отклик в песне одного из прославленных бардов: «И вам джерси, и вам джерси…» (А.Галич). На нижнем этаже павильона были выставлены многочисленные монографии по искусству, всевозможные словари и другие роскошные издания, прибитые к столам и стендам, так как в первые же дни все они мгновенно исчезали со своих мест; в дальнейшем на выходе стали осматривать сумки и портфели. На втором этаже — беллетристика, большей частью в тонких обложках, не представлявшая материальной ценности,

прибивать ее не приходилось. Мама, к тому времени уже бредившая Сент-Экзюпери, увидев на полке его книги, обратилась к молодому человеку, распоряжавшемуся в зале, и спросила, не позволит ли он взять ей два томика любимого и переводимого ею писателя. Тот с обворожительной улыбкой и чисто французской галантностью, закрыв глаза руками, сказал, что ничего не видел и не слышал. Получив это неофициальное разрешение, мама унесла с собой «Цитадель» и «Военного летчика». Книги стояли во множестве экземпляров; делалось это, как потом стало известно, совершенно сознательно, — чтобы одарить всех желающих шедеврами французской литературы.

Венский балет летом на льду тоже был новинкой,

у нас тогда на искусственном льду не катались.

По экранам прошли первые неореалистические фильмы — «У стен Малапаги», «Рим в одиннадцать часов» и другие. Их считали вершиной кинематографии, смотрели по несколько раз. Любители мелодрамы больше всего восторгались «Мостом Ватерлоо». Что же говорить о том, когда спустя несколько лет вышли на экран «Ночи Кабирии», а потом «Земляничная поляна»! На кинофестивали рвались решительно все, но имели доступ туда лишь избранные, простым смертным удавалось проскочить разве что чудом раз в сто лет. Но после «8!/2» счастливчики, которым повезло, целый год говорили только об этом фильме. У меня даже заснято на пленку, как наши знакомые, неистово жестикулируя и

не в силах усидеть на месте, обсуждают его на коктебельском пляже. Но в сущности, все эти избранные и не избранные ходили и смотрели (сначала на фестивали или еще куда-нибудь в столь же недоступные места вроде ЦДЛ или Дома кино, — даже «Иллюзион» оставался долгие годы запретным плодом), чтобы потом сказать: в общем-то, ничего особенного, а что замечательно, — так это — «Мужчина и женщина».

Фильм конечно красивый, с красивыми актерами, красивой музыкой, но и все. А та же Анук Эмэ разве сравнима с той, что у Феллини в «8 1/2»? Настоящее искусство по большей части воспринимается очень немногими. Никакой культпросвет тут не поможет, и «культура в массы» никуда не приведет. И <<природа в массы» — к кострам с гитарой (хорошо, если с гитарой, а то с транзисторами и магнитофонами) и водкой, и приобретением собак неслыханных и невиданных пород, а заодно крокодилов и удавов. И трещат в лесах под ногами полиэтиленовые бутылки, стаканы, пакеты.

Почти одновременно с итальянскими картинами у нас показали первые французские комедии — «Фан- фан-Тюльпан» и «Жюльету», и сразу же прекрасный иол распался на два лагеря: почитательниц Жерара Филиппа и Жана Маре. Точно так же, я тогда еще училась в школе, все девочки делились на любительниц Кадочникова и Дружникова. Две моих приятельницы, познакомившись на первом курсе с молодыми людьми, на которых сначала поглядывали снизу вверх, пришли в полное замешательство, когда те предложили им заполнить шуточную анкету, не зная, как ответить на вопрос: «Кого вы предпочитаете, — Дружникова или Кадочникова?» — так, чтобы не показаться недостаточно интеллигентными.

Позднее такое же разделение слабого пола произошло при одновременном появлении Баталова и Смоктуновского.

Из театров первой ласточкой из-за железного занавеса явилась «Комеди Франсез», с Мольером и корне- левским «Сидом». Изысканность костюмов и декораций, знаменитая и специфическая манера декламации, особенно в «Сиде», приводили в восторг. Но по-настоящему игрой и постановкой поразил и всем запомнился бруковский «Гамлет» с Полом Скофилдом и, пожалуй, еще больше неподражаемый Гамлет — Редгрейв в классической трактовке шекспировского театра. Когда же появился наш кино-Гамлет, которого взахлеб обсуждали все и которого не спасли ни текст Пастернака, ни музыка Шостаковича, ни в общем-то неплохая игра Смоктуновского («Он, конечно, Гамлет, но не принц». — сказала про него мама, повидавшая многих Гамлетов, начиная с М.Чехова) — это не шло ни в какое

сравнение с английскими. И как прикажете понимать: Гамлет, по пьесе Шекспира? Вариации режиссера на тему Гамлета? Лоренс Оливье, тоже делала кино-Генрихов, но не по пьесам Шекспира, а Шекспира. А уж когда в 64-м Питер Брук привез «Короля Лира» снова со Скофилдом и изумительной Корделией, память об этой неслыханной, ни с чем не сравнимой театральной постановке осталась на всю жизнь, я думаю, не у меня одной.

«Комеди Франсез» воспринималась восторженно именно потому, что была первой, хотя труппа «Вьё Коломбье», приехавшая позднее с «Жаворонком» Ануя и незабываемой Флон в роли Жанны Д'Арк, была намного интереснее и значительнее. Удивительно: билеты на нее продавались совершенно свободно, а на спектакли «Комеди Франсез», по уже упомянутой причине, попасть было практически невозможно.

На «Гамлета» я простояла в очереди целый день, забегая, как все, погреться в ближайшие подъезды. Одна известная переводчица, увидев свою коллегу, радостно воскликнула: «Здесь стоят лучшие люди!». Я была рядом, поэтому слышала. Фраза показалась мне не слишком удачной, особенно в устах человека этой профессии. Программки для спектакля снабдили фотографиями актеров и пояснительными текстами, а в конце поместили статью знатока английской литературы: «Трагедия одинокого борца», — прекрасная трактовка пьесы и героя.

Но пора обратиться к более низменной стороне жизни тех лет, разумеется, «история не в том, что мы носили, а в том, как нас пускали нагишом», но ведь все же что-то носили и на чем-то сидели. В смысле быта с середины пятидесятых стало полегче; я имею в виду, естественно, только Москву, Ленинград и начавшие размножаться академгородки, — в одном из них мы прожили почти четыре года, но об этом ниже.

Еще в самом конце сороковых стали появляться первые импортные вещи: немецкий фарфор, чешские туфли «Бати» (после того, как там навели полный порядок, их переименовали, и они стали называться как-то иначе), а до этого все не могли нарадоваться величайшему достижению социалистического производства — ботинкам на микропористой резине. Из тканей

штапель и жатый ситец; поначалу их надо было выискивать по Мосторгам, благо тогда их было мало, так что. объездить все не составляло труда, а найдя — долго стоять в очереди. С появлением штапеля (очень скоро его стали делать у нас, и он на долгие годы заполонил прилавки магазинов) возникла мода на халаты с ногой. На даче и на юге в них разгуливали многие дамы. Фасон очень простой, так что мастерили его сами, даже не умевшие как следует шить: верх без рукавов и длинная юбка в

сборку на пуговицах, которую не всегда застегивали, из-за чего и пошло нелепое название. Приятельница маминой мачехи была убеждена, что только благодаря халату «с ногой» дочка поенного поколения, отправленная ею в актерский дом отдыха, подцепила там мужа. Полагаю, халат тут ни при чем. Девушка была достаточно привлекательна, а найти или увести мужа в актерской среде — не такая уж сложная задача для девицы или женщины любого поколения.

Стали продавать и другую одежду из демократических стран. Любопытно, что на первых порах импортные вещи стоили дешевле наших. Тем не менее основная масса населения их не признавала, считая грубыми (это твидовые-то юбки и пальто, хотя бы и демократические), а еще потому, как любила повторять слова отца моя подруга, что советская обувь — самая прочная.

Мебельные магазины наводнила сравнительно деше- иая финская полированная мебель, но и при относи-

6 Зака'1 № 455

тельной дешевизне приобретали ее люди в общем-то обеспеченные. И все же многие мои знакомые обзавелись секретерами — предмет моей зависти. У меня отродясь не было никакого стола, кроме детского для игрушек. Со временем он подрос за счет удлиненных ножек, и я готовила на нем уроки, а в дальнейшем и университетские задания. Но, наконец, и мне мама купила маленький, а потому самый дешевый, секретер; он стоил 250 рублей, — столько, сколько самые простые туфли или метр шерстяной материи. Сейчас эти цифры и сравнения мало что говорят, но для нас и такая сумма была не очень-то по карману.

Через год или два цены на мебель, которую впервые после революции покупали простые советские люди, подскочили вдвое и втрое. Интересы и приобретения такого рода наш знакомый окрестил «вещеведением». Ему, писательскому сыну, выросшему среди красного дерева и карельской березы, трудно было понять, что можно мечтать о письменном столе или вазочке для цветов.

При виде всевозможных немецких игрушек и кукол, куда более привлекательных, чем теперешние Барби, просто глаза разбегались. Одна кукла, одетая и причесанная по тогдашней моде — в брючках и с конским хвостом (на голове) — так и называлась «пижонка». Когда дочке исполнилось шесть лет, мы не удержались и купили ей огромную роскошную коляску (я бы от такого подарка в свое время подпрыгнула до потолка), волокли ее пять километров от станции все до той же Свистухи. Но дочка, предпочитавшая зверей, а не кукол, ее не оценила, а наши друзья, столкнувшись с нами в «Детском мире», где мы ее покупали, рассмеялись: «Мы как раз думали, каким идиотам может

понадобиться такая бессмысленная вещь». Книжки, в основном немецкие, иногда чешские, с уютными картинками и незамысловатыми трогательными рассказами мы еще раньше покупали для нее на Тверской в магазине «Демократической книги». Там же продавались симпатичные календари, китайские закладки, а через несколько лет в одном из арбатских переулков появился магазин французской книги. Кроме классики и замечательных учебников Може для взрослых там был огромный выбор бесконечных приключений Руду- ду и Рикики — их сразу же полюбила детвора (и родители, вроде меня). Теперь их давно уже издают на русском.

Завершила эту первую, но долго катящуюся волну импорта «чувств изнеженных отрада» — французские духи. Очень постепенно, но не сразу, они вытеснили наши. Справедливости ради, надо сказать, что многие наши духи, вроде «Крымской фиалки» или «Розы» делались на натуральных эфирных маслах и в самом деле пахли фиалкой и розой, а не непонятной косметической убойной смесью, а уж появившаяся в Ленинграде «Белая сирень», сводившая всех с ума. затмила всю нашу парфюмерную продукцию. Правда она быстро испортилась, а сменивший ее «Серебристый ландыш». которым тоже бредили, был слащавый и мало напоминал ни с чем не сравнимый запах цветка.

В последние годы давно уже наметился раскол, а может и расколы, между друзьями и недрузьями по поводу самых животрепещущих вопросов, и многие оказались по разную сторону баррикад, только теперь о своих взглядах можно кричать на каждом перекрестке. А раньше жили, как в старом анекдоте: американец говорит русскому: «Вот у нас настоящая свобода. Можно стать перед Белым домом и сказать: "Американский президент — дурак", — и ничего тебе за это не будет». На что русский отвечает: «И у нас можно выйти на Красную площадь и сказать: "Американский президент — дурак"».

Году в 49-м, идя с приятелем поздно вечером из гостей по набережной, я вдруг из чистой бравады буркнула: «Терпеть не могу эти алые звезды». Мой спутник, офицер военной академии (да еще член партии) не проронил ни слова в ответ, а знакомы мы были с детства и семьями. Через несколько лет. услышав от близкой приятельницы: «Ну вы-то известные контрики», — я чуть не остолбенела. — неужели даже среди близких друзей мы выглядим белыми воронами, вроде бы не высовываемся? Хотя, по большому счету, все они за редчайшими исключениями, действительно, были советские.

Но возвращаясь к размежеваниям: во время венгерских

событий мы зашли к друзьям. Те в это время слушали радио и с сияющими лицами и чувством облегчения объявили нам: «Ну, слава Богу, наши танки вошли в Будапешт; теперь там наведут порядок». Спорить было бесполезно, но дружба после этого пошла на убыль. А в эти же дни находились такие, вернее, такой (Н.Коржавин), отсидевший в тюрьме и ссылке и, все равно продолжавший восставать в Будапеште, — хоть и не на берегу Дуная, а в стихах («…только раз я восстал в Будапеште…»). И не боялся их читать, так же, как и предыдущие, за что и отбывал срок. Он и про тридцатые писал «…а я бродил в акациях как в дыме, и мне тогда хотелось быть врагом…», тогда, как некоторые продолжали воспевать ту, и в самом деле, «единственную», братоубийственную, по жестокости и кровавости мало с чем сравнимую («Я все равно паду на той, на той единственной гражданской»).

Летом 57-го в Паланге, мы много общались с Юрием Борисовичем Румером. Незадолго до этого он вернулся из ссылки и теперь жил и работал в Новосибирске. В голове у него, по его собственным словам, постоянно срабатывало нечто вроде счетной машинки с единственным ответом — минус семнадцать. Из всех, кого я знала, вернувшихся, как и он, из небытия, никто эти 17, 18 и любое другое количество лет, проведенных там, не перечеркивал. Из мало с чем сравнимого по чудовищности опыта, кто меньше, кто больше, но все что-то выстрадали и вынесли. Почти все эти годы Ю.Б. проработал в КБ — шарашках. До войны, когда его, хорошо одетого, с такими же хорошо одетыми справа и слева, везли в троллейбусе или трамвае из одной шарашки в другую, встречавшиеся знакомые кидались к нему с объятиями и вопросами: «Что с тобой случилось, где ты пропадал?», ему не оставалось ничего другого, как выдавливать улыбки и придумывать разные небылицы. Но, вообще Ю.Б. не любил пускаться в подробности, предпочитая шутить, рассказывать старые анекдоты, подсмеиваться над знакомыми: «Один Люся-час убивает взрослого слона», — говорил он про одну даму, жившую тогда в Паланге. Часто вспоминал Ландау, ценил его очень как ученого и друга, не раз повторял, что именно он вытащил его из лагеря в КБ, вспоминал их совместные шалости и проказы в Германии, где какое-то время они вместе учились. Его любимым языком на всю жизнь остался немецкий, — первый, по его словам, язык любви, дружбы, науки. Мама не раз пыталась завести Ю.Б. на серьезные темы.

Вы, физик, столько пережили, неужели же не пришли к Богу? Ведь и Эйнштейн, и Шредингер…

Не знаю, не знаю, мне очевидно только, что дважды два

всегда четыре.

Из поэтов больше всего ценил Есенина. Правда, когда Миша прочел ему «За гремучую доблесть грядущих веков» Мандельштама, даже разволновался и попросил для него переписать. Ну а из современной прозы, конечно же, Хемингуэй. Когда обнаружил у меня по-английски «По ком звонит колокол», тут же попросил ему дать и проглотил за одну ночь.

Помню только один из скупых рассказов Ю.Б. Его этапировали в Сибирь с партией уголовников. С ними, особенно с их главарем, у него сложились вполне дружеские отношения, те его угощали и считали своим. На одной из остановок к ним в теплушку подсадили деревенских мужиков с мешочками, тут же изъятыми у них его дружками. Пока он обдумывал, как бы ему отказаться на этот раз от совместной трапезы, их главарь его опередил: «Юрка, ты ведь все равно этого есть не станешь».

Такое панибратство с его стороны, продиктованное отнюдь не страхом или желанием подлизаться, резко отличало его от «настоящих» зеков, не считавших уголовников за русских, как объяснял герой «Ракового корпуса» медсестре, выразив отношение к ним самого автора и людей того же склада и убеждений. Они даже блатные песни «Мы бежали по тундре», «Централка» и другие, которые мы, глупые вольняшки, нередко распевали, на дух не переносили. Правда, со слов свекрови, я знаю, что ее отцу, Г.Г.Шпету, не давали выносить парашу те же уголовники, так же как и Руслановой, но та сама мало чем отличалась от блатных.

Заметив, что я могу часами сидеть или ходить вдоль моря, он как-то спросил: «А вам приходилось, Настенька, бывать когда-нибудь на берегу совсем одной?» Разговор тут же перескочил на другое, и я не узнала, где ему пришлось такое испытать, но теперь, когда порой мне выпадает счастье бродить одной вдоль шумных волн, я часто вспоминаю его слова.

До знакомства с Румером я слышала рассказы о лагере и ссылке от А.С.Эфрон и ее подруги А.А.Шко- диной-Федерольф. Муж в ее отсутствие женился, о чем счел нужным сообщить только при встрече; сестра побоялась пустить ее к себе, и она некоторое время жила у мамы. Но и она. и А.С. чаще всего вспоминали какие-нибудь забавные эпизоды из жизни в ссылке.

Правда, одну «красивую» фразу Ариадны Сергеевны, если здесь можно применить эпитет «красивая», хотя бы и в кавычках, произнесенную на допросе в застенках Лубянки, но еще до того, как у нее выбили ребенка, я запомнила. На сентенцию следователя «каждый человек — кузнец своей судьбы», — «особенно если он попадает между молотом и наковальней», —

отрубила она. Хладнокровие и выдержка, по-моему, не покидали ее ни при каких обстоятельствах.

Однажды я перебила Аду Александровну каким-то вопросом. «Ну вот, я тебе про горностайчиков рассказываю, а ты все спрашиваешь про карцер», — рассердилась она. Недавно вышла книга ее воспоминаний, и там уже не только про горностайчиков. Сначала я по наивному тупоумию не могла понять, почему мужчины гораздо охотнее и подробнее рассказывают о тюрьме и лагере, и только узнав и от них, и из прочитанного, поняла, что помимо кошмара, пережитого женщинами наравне с мужчинами, на долю первых выпали муки и унижения, о которых невозможно забыть, но и невозможно рассказывать.

Что же добавить к сказанному об этой поре? Еще можно было попадать в Консерваторию, хотя и не так легко, как раньше. На хорошие концерты надо было записываться в очередь и отмечаться. Со временем послушать не только гастролеров, но и Рихтера, стало практически немыслимо. Заядлые меломаны заводили дружбу с кассиршами в метро, покупая билеты с «нагрузкой» (билеты в театры, куда никто не ходил), с гардеробщицами, — те их проводили через контроль. Иногда толпа напирала так, что бились стеклянные двери. Контролеры, стоявшие теперь уже при входе, отступали перед таким натиском. В дальнейшем уже на тротуаре, справа и слева от Чайковского, выстраи- налась милиция, иногда конная. Менялась публика. Ходить на Рихтера стало престижно, и партер заполняли люди, никогда прежде в Консерватории не появлявшиеся. Но в амфитеатре, где народу набивалось вдвое и втрое больше, чем предусмотрено местами, сидели впритирку и даже на ступеньках прежние завсегдатаи, и многие гастролеры утверждали, что такой публики, как в Москве, они нигде не встречали.

Роберта Шоу, привезшего «Мессу» Баха и спиричу- алс, принимали восторженно. Их так долго не отпускали и так аплодировали, что певцы и музыканты плакали от волнения, а у дирижера, когда он, стоя на одном колене у рампы, расписывался на программках выстроившейся во всю длину зала очереди, дрожали руки. Ни пассионы, ни месса у нас прежде не исполнялись, но и Р.Шоу и его камерный ансамбль были великолепны.

Не стану подробно останавливаться на первых гастролях балета Баланчина, — он приезжал не однажды, и если не все, многие хорошо себе его представляют. Хочу сказать два слова о том, как он воспринимался некоторыми солистами и несолистами Большого театра. а также их родственниками, считавшими себя знатоками хореографического искусства. «Настоящая

порнография», — негодовали они по поводу лучшей постановки «Блудный сын» с декорациями Руо, вернее, танца блудницы, мастерски поставленного и исполненного. Тогда еще не увлекались Бежаром, и Плисецкая не каталась по полу в «Даме с собачкой», — одном из самых чудовищных балетов, какие мне доводилось видеть. Может быть, вообще не следует танцевать ни Чехова, ни Анну Каренину, даже если не разделять взгляда на театр самого Толстого?

В драматических театрах царила стряпуха и бесконечные комсомольские и иркутские истории. Когда вахтанговцы приехали в Ниццу или еще куда-то в этом роде и с треском провалились. Р.Н.Симонов ворчал: «Ну. естественно, бархатный сезон, съехалась буржуазия. Разве им интересна "Иркутская история"?». А кому она вообще была интересна? И все же бесподобная Мансурова и тот же Симонов успели спеть свою лебединую песнь в «Филумене», так же, как позднее Раневская и Плятт в «Тишине», и опять же мхатовцы, особенно Андровская, в «Соло для часов с боем».

Но вот возникли Современник и Таганка, о которых не перестают вспоминать по телевизору (совсем забыв, к сожалению, яркую, смелую и неожиданную постановку Н.Акимовым байроновского «Дон Жуана»). Рвались, ахали, попасть было невозможно, и что же? В спектакле о Маяковском его играли сразу четыре актера. Единственное, что прозвучало — стихи Пастернака на смерть Маяковского, вдохновенно и темпераментно прочитанные Славиной. А «Зори» — так ведь сюжет такой, что, как ни изобрази, невозможно удержаться от слез. Секрет успеха — немного полуправды, немного фиг в кармане и очень много трюкачества. Мне кажется, это было началом процесса, приведшего к полному упадку и абсурду современного театра. (А может все началось еще с Мейерхольда?) Искусство, мне кажется, особенно театральное, может произрастать лишь на почве многовековой сложившейся культурной традиции и то не всегда, а всякое другое — при утраченных традициях, вероятно, только под прессом или в катакомбах, хотя не дай нам Бог опять попасть под этот пресс.

О «Десяти днях, потрясших мир», короткое время ласкаемый после выхода «Одного дня Ивана Денисовича» и всюду зазываемый Солженицын отзывался: «Не мог же я им сказать, что все было не так», — он, сказавший потом все. Да, говорить было нельзя, и очень много, чего было нельзя и до и еще долго после.

В 58-м в институт, где работал муж, приехал американский физик с женой. Мужа, владевшего английским, попросили поводить их по магазинам, показать столицу и помочь, чем

можно, только не приглашать домой. Они оказались очень милыми людьми, мы подружились и еще несколько лет переписывались. Часто, сидя у них в номере в «Савойе», мы подолгу разговаривали, переходя иногда на шепот и указывая на потолок. Хилле понимали этот жест, имея некоторое, хотя и искаженное, представление о том. что у нас происходит. Даже насмешили нас, спросив, как родители не побоялись назвать меня именем одной из царских дочерей. Но, когда однажды они пригласили нас поужинать в ресторане той же гостиницы, где за каждым вторым столиком можно было узнать работников из органов, на вопрос, читали ли мы «Живаго», опустив глаза в тарелки, мы ответили отрицательно. Заметив наше смущение, но истолковав его превратно, они поторопились нас ободрить: «Вот видите, мы не знаем современной американской литературы — до этого мы спрашивали их о Сэлинджере — а вы русской».

А лет через пятнадцать (срок, правда, не малый), встретившись в Ленинграде за шведским столом с симпатичной американской парой, мы проговорили не меньше часа с ними и о «Живаго», и о Солженицыне, которого тогда травили, и обо всем на свете, хотя до гласности и перестройки было далеко. Просто не стало сил терпеть, и, конечно, не многие отваживались выйти с детской коляской на Красную площадь, но языки развязались. Я сказала уже. что это происходило значительно позже: психология и поведение менялись постепенно.

Я уже говорила, что с середины 60-х концерты, театры, выставки стали труднодоступны, но что-то совсем непонятное, прямо-таки мистическое, стало происходить с книгами. Вдруг повально все стали книголюбами. Не читателями, а именно книголюбами, а иногда сериолюбами. Один популярный актер, отвечая на записки в Останкинской студии, на вопрос: «Ваша любимая книга?», признался: «Очень люблю "Литературные памятники"». Вот так. И действительно, книги этой серии стали сверхнедоступны. Наша приятельница, работавшая в ленинградском Доме книги, снабжала своих друзей невиданными деликатесами, которые ей отпускались в мясных и кондитерских отделах из-под прилавка, а продавщицы в свою очередь засыпали ее мольбами: «Книги, книги… любые!» Не только Белинского и Гоголя с базара понесли — чему порадовался бы Некрасов, но кого угодно.

Счастливчиков, вроде нас, выручали иностранцы, покупавшие для друзей книги в магазине «Березка». В дальнейшем они же выкармливали первых внуков детским питанием Milex. Ну а те (я говорю не о «библиофилах» и «книголюбах»), у кого не было такой возможности, — а как прожить без Пастернака, Цветаевой,

Мандельштама, Ахматовой, — даже имея машинописные копии и отдельные случайные старые издания, тратили немалые деньги, приобретая их на «черном рынке». Тут бывало все — ведь все эти книги печатались многотысячными тиражами, и спекулянты их всегда добывали. Длился этот книжный бум чуть ли не два десятилетия.

Первое исполнение 13-й симфонии Шостаковича было воспринято не как очередное произведение композитора, а как общественно-политическое событие. И в первую очередь из-за Бабьего Яра, прозвучавшего благодаря, как всегда, не столько пронзительной, сколько пронзающей, как набат, музыке автора. Переполненный зал слушал затаив дыхание. Среди публики мелькали лица, никогда прежде в Консерватории не появлявшиеся. Шостаковича и Евтушенко вызывали без конца. А я поймала себя на мысли (как оказалось, не я одна, а очень многие), что после концерта и авторов, и исполнителей, и слушателей посадят в воронки и прямо из Консерватории препроводят на Лубянку. Это к тому, как трудно менялась психология. Сейчас это покажется смешным, в особенности тем, кто не были «детьми страшных лет России» (впрочем, когда они были и продолжают оставаться не страшными), но ничего не попишешь, — было такое время.

Сейчас вызывает недоумение, но исполнение песенного цикла на стихи Саши Черного тоже произвело фурор. Уж очень всем хотелось «света, для себя пока я жив, а потомки пусть…» Вишневская пела остро и искрометно в духе Шостаковича, а аккомпанировавший ей Ростропович сидел за роялем, растопырив ноги, словно это виолончель. Публика неистовствовала от восторга; Ростропович стал листать ноты, выбирая что бы исполнить на бис. Воспользовавшись паузой, я на весь (Малый) зал громко сказала: «Все сначала!» Все рассмеялись, еще громче захлопали, и Вишневская с Ростроповичем исполнили еще раз весь цикл целиком.

Пятью или семью годами раньше совсем не весело, а с болью в сердце слушатели воспринимали «Еврейские песни». Поначалу вообще было непонятно: издевается Шостакович или рыдает, но когда дошло до…врачами, врачами, наши стали сыновья…», комок в горле почувствовали все, — слишком свежа была память о «деле врачей».

Вскоре состоялся и первый цветаевский вечер в ЦДЛ. Скучно и не интересно выступал Эренбург, что- то не очень вразумительное лепетала Ахмадулина, и не столько о Цветаевой, сколько об убитом на дуэли Пушкине,

Разумеется, всем известно волошинское — «странен жребий

русского поэта, неисповедимый рок ведет Пушкина под дуло пистолета, Достоевского на эшафот». Продолжать список можно до бесконечности, так что связь все же улавливалась.

и о том, как она всегда плачет, представляя себе его лежащем на снегу. Среди присутствующих в зале я заметила литературоведа, читавшего нам на последнем курсе советскую литературу. Я и тогда уже знала, что он любит стишки; на экзаменах и зачетах он обязательно спрашивал, что знаете наизусть, и просил эти знания продемонстрировать. Чаще всего это был Маяковский, а мне достался билет с отчасти уже реабилитированным Есениным. И все же я удивилась, встретив его на этом вечере, — слишком уж врезалась в память его лекция о Шолохове, когда он с такими же сияющими глазами, с которыми сейчас пробирался к месту и смотрел на эстраду, и с дрожью в голосе говорил, отнюдь не из-под палки (разговор шел не об идейном содержании) о кристальной прозе нобелевского лауреата. Не очень вязалось это с любовью к Цветаевой. Впрочем, возможно, я сужу слишком строго.

С каким придыханием любят сейчас вспоминать 60-е, а называющие себя шестидесятниками без ложной скромности кричат под аплодисменты толпы: мы дескать «легендарные» («… мы и… и легендарные». — Евтушенко). Если, оглядываясь на те годы, будут и впрямь называть кого-то легендарными, то тех, прошедших не первый, а все круги ада и чудом уцелевших, чтобы явить миру такие свидетельства пережитого теми, кто выжил, и теми, кто исчез с биркой на ноге, сваленными не всегда в яму, а просто в штабеля; свидетельства, от которых содрогались и вечно будут содрогаться сердца услышавших или прочитавших их. Сегодня помнят и знают все это и без моих ахов. «Моя же грудь тесна для этого дыханья, для этих слов узка моя гортань» (Волошин).

«Легендарные» в это время строчили бойкие, но такие в сущности пустые стишки и повести. Маститые же переводчики, дабы не отстать от времени, чуть ли не с корками высасывали аксеновские «Апельсины из Марокко», пополняя современным жаргоном свой словарный запас. А сам автор «Апельсинов» укатил за свободой за океан и напечатал там роман, на каждой странице которого одно совокупление сменяет другое, смакуя все ароматы и даже размеры, сопутствующие этим занятиям (сейчас этим никого не удивишь и не смутишь).

Так вот, оказывается, для чего не хватало свободы (о сладкой жизни я не говорю, — она ведь была главной приманкой). Теперь все они себя величают не только легендарными, но аж патриархами. Представители старого поколения патриархов

соцреализма и литературных громил, всю жизнь писавших бесконечные продолжения «одиноких белеющих парусов» и «за власть Советов», вдруг стали признаваться, что любили Бунина, дружили с ним. знали стихи Мандельштама и даже оказались способны создавать образы вроде «лан- дышево позванивая», чего у автора «За власть Советов» и предположить было нельзя. А уж в «Алмазном венце», которым зачитывалась многие, писатель осмелел настолько, чтобы показывать фигу в кармане, повторяя, как рефрен, ни к селу ни к городу: «Белой акации гроздья душистые» — любимый романс белогвардейцев… И все еще долго продолжали выписывать «Новый мир».

Примерно в ту же пору я перевела пьесу Фигерду и, не очень надеясь на успех, предложила ее Вахтанговскому театру. Неожиданно оказалось, что она понравилась не только художественному руководителю, но и всему худсовету. Подумывали уже о распределении ролей. Но через некоторое время, не помню уж после какого очередного похолодания в оттепель, закончившуюся прежде, чем она началась, но о которой столько шумели и от которой так много ждали, мне было сказано: «К сожалению, не та погода». Уязвимым моментом в пьесе, сценичной и веселой, было слишком несерьезное изображение революционного переворота в одной латиноамериканской стране, который возглавил красавец барбудо, руководя им с помощью музыкальных сигналов из туалета посольства, где он попросил политического убежища и уже начал крутить роман с дочерью посла.

Столь же вразумительный ответ я получила в Овире, «просив, почему мне отказано в разрешении поехать но приглашению в Италию в годы глухого застоя, но когда уже ездили за рубеж, как тогда говорили, не только в служебные командировки, совершенно забыв, что «не нужен нам берег турецкий и Африка нам не нужна». Мне было заявлено, что моя поездка представляется нецелесообразной.

После неудачи с пьесой, меня постигла еще одна в том же роде. В журнал «Знамя» я принесла рассказ Сэлинджера. Его не напечатали, — совершенно безыдейный и вообще непонятно о чем. хоть я и пыталась разъяснить, что хотел сказать автор. Но перевод почему-то понравился редакции, и мне чуть ли не два года звонили и напоминали, что я обещала найти для них что-нибудь прогрессивное. Я так и не нашла, и на этом мой роман с журналом бесславно окончился.

Я прекрасно понимаю, что ворчу и брюзжу, вроде старшего поколения Форсайтов, которым казалось, что Англия катится в пропасть, а на мой взгляд — не только туманный Альбион, а весь

мир. В Грузии давно уже снова открыт музей вождя всех времен и народов: кавказские шоферы еще двадцать лет назад оклеивали стекла машин и автобусов портретами Сталина. Компартию так и не запретили, и ни один палач не наказан, когда по всему свету до сих пор разыскивают и судят нацистов, хотя пора было бы дать восьмидесяти- и девяностолетним старикам умереть своей смертью и не в камере. Но и там уже давно заявляют о себе неофашисты, то с санкции польского правительства устраивая парадные шествия перед Освенцимом, то открывая «Макдональдс» против ворот Бухенвальда с вывеской «Егиьте, сколько хотите». Ведь туда такой наплыв туристов, а осмотр бывшего лагеря смерти не отбивает аппетита даже настолько, чтобы хоть на пятьдесят километров отъехать от страшного памятника, при одной мысли о котором волосы встают дыбом.

И все же в 94-м году в лондонском соборе Святого Павла была служба, посвященная пятидесятилетию гибели Анны Франк; в ней участвовали и католические, и православные, и англиканские священнослужители и раввины. Молитвы и песнопения прозвучали на всех языках.

Во Франции 14 июля продолжают как ни в чем не бывало танцевать и веселиться, забыв и о гильотине, и о том, что именно их распрекрасная революция, а не кто-нибудь, разбудили декабристов, а те… и т. д. И раздают ордена Почетного легиона, когда-то вручаемые лишь истинно достойным этого знака отличия, кому попало; ну ладно Маре, он хоть ветеран, правда не Сопротивления, а экрана и сцены. И уж совсем непонятно, за что — Депардье. Сами они справились и оправились, потому и могут смеяться и шутить, а вот мы… У Коржавина когда-то были такие строчки в поэме: «…нельзя в России никого будить» и там же «кому мешало, что ребенок (Ленин) спит?..». Что же говорить о куда более страшных и чудовищных вещах.

Летом 63-го мы с семьей опять оказались в Коктебеле. Как же он изменился за последнее десятилетие! Мы бывали там в осенние месяцы в 58-м и 59-м и даже в июне 62-го. но из-за относительного безлюдия out of season это не так бросалось в глаза. На берегу выросли пансионаты, на пляже перед ними — бесконечные деревянные тенты и лежаки, кабины для переодевания, спасательная станция, откуда в рупор непрестанно неслось: «Будьте осторожны с плавсредствами!» Дальше буйков заплывать не разрешалось.

На море мы отправлялись пораньше, не позже восьми, — иначе поставить для мамы и детей самодельный тент из простыни и палок нельзя было и подумать: стена таких палаток выстраивалась вплотную друг к ДРУГУ (на диком пляже, где мы

когда-то купались нагишом). А когда дети болели и мы с мужем бежали окунуться около двенадцати, то с трудом отыскивали свободный пятачок, чтобы бросить полотенца и шорты. Мелюзга, барахтаясь в прибрежной пене, распевала: «Эй моряк, ты слишком долго плавал… мне морской теперь не страшен дьявол…».

В горах не на самых популярных маршрутах можно было еще насладиться уединением и тишиной. Дома и в саду это тоже не удавалось, ведь в каждом доме теперь ютилась не одна, а пять и шесть семей, если не больше. В самый наплыв не только в беседке, но и просто под деревьями стояли раскладушки; в общежитии напротив все лето с утра заводили единственную пластинку, — «ни при чем наряды, ни при чем фасон…», — а по вечерам неслись вопли и взрывы из открытого кинотеатра. Моя свекровь, заглядывая к нам, каждый раз поражалась, как можно жить в таких условиях. Родители мужа с младшими дочерьми гостили у М.С., где, по-моему, был еще больший бедлам, и я, в свою очередь, дивилась на них.

На Кара-Даг, где еще недавно «носились лишь туманы, да цари орлы», ходили толпы, превратившие в конце концов тропинку вдоль хребта чуть ли не в автостраду. На Южный и Северный перевалы нередко и впрямь въезжали на машинах. Любители острых ощущений норовили непременно спуститься с Кара-Да- га в бухты, эти попытки зачастую кончались трагически. Кара-Даг с моря — либо отвесные скалы, либо коварные базальтовые осыпи, а две тропинки, по которым можно осуществить это безнаказанно, знали лишь старожилы. В то лето сорвались два физика: их товарищ, чудом сумевший за что-то уцепиться и даже увидеть, что те упали на выступ, а не в пропасть, примчался в Коктебель и стал звонить в Феодосию, моля о помощи. Вертолет (настоящей службы спасателей-скалолазов тогда там еще не существовало) появился только на следующее утро. Несколько молодых мужчин из Литфонда и волошинского дома ходили туда с веревками в тот же вечер, но ничего не сумели сделать. Мы сидели на берегу и, как завороженные, следили: вот вертолет заходит со стороны залива,

М.К.Баранович и М.С.Волошина. Коктебель, 1963 г.

Л.Баранович Поливанова и М.К.Поливанов с детьми. Коктебель, 1963 г.

огибает скалы, возвращается и снова и снова заходит, — и все безрезультатно. Так продолжалось два дня. После безуспешных попыток снять их с вертолета более опытные люди с помощью веревок вытащили наконец погибших, а под их телами обнаружили труп девушки, неизвестно сколько времени там пролежавшей. Кроме купальника и фотоаппарата на ней ничего не было, и ее долго не могли опознать. Все эти дни ни о чем другом не говорили, кроме как о погибших.

Я уже сказала, что Коктебель изменился до неузнаваемости. В доме у Марии Степановны еще собирались старые друзья, появилось и много новых. Одни больше, другие меньше вписывались в атмосферу дома. Маячила на террасе, поражая своей моложавостью киноактриса Тамара Макарова, всегда-то

советская и даже в дальнейшем, когда многие сменили или делают вид, что сменили, окраску, осталась такой же. Что тянуло ее в волошинский дом? Скорее всего, все тот же престиж. Правда, помню, как мама со смехом рассказывала, что еще до войны М.С. часто сиживала на террасе с тогда уже глухой М.С.Шагинян. толкуя ей о Боге и Масиньке (она почти всегда так называла Волошина), а та ей о коммунизме, и обе в результате приходили к полному взаимопониманию. Любовь к М.С. не мешала маме замечать ее слабые струнки. Когда мы последний раз с мамой были в Коктебеле, заговорили о Солженицыне, а может и не только о нем, «Макс был один, а Солженицыных много», — заканчивая разговор сказала Мария Степановна. Мама, сама любя и ценя Волошина, не могла с ней согласиться, но не вступая в спор, только пожала плечами и многозначительно переглянулась со мной.

Если у М.С. появлялись люди совсем иного стиля, что же говорить о поселке, Литфонде и хлынувших в Коктебель туристах. Все теперь рвались посмотреть дом поэта. М.С., порой не выдерживая слишком большого наплыва, то и дело просила кого-нибудь ее заменить. Несколько раз и мне доводилось водить экскурсии, показывать мастерскую, кабинет и рассказывать все то, что сама не однажды слышала от М.С. В доме еще звучали прежние коктебельские песенки, а обитатели Литфонда, давно уже именовавшегося Домом творчества, рифмовали Коктебель со словами, никогда прежде не оглашавшими и не тревожившими «окрестный окаем»: «На пляже Коктебля, свобода бля. свобода…» И, в общем, «нам становилось противно».

После длительного перерыва мы стали ездить туда на недельку или две в начале мая, впервые увидев склоны гор и холмов усыпанные тюльпанами, пионами, фиалками, горицветом и асфоделиями и услышав пение зябликов и соловьев и даже так не вяжущееся с представлением о юге ку-ку-, о чем раньше слышали от той же М.С. и чему не могли поверить.

Возвращаясь к лету 63-го, хочется еще добавить несколько слов. Скромный небольшой обелиск, поставленный сразу после войны на дорожке у самого пляжа, заменили огромным гранитным с барельефами, и верно, если уж «воскресать нам», то «одетым в гранит», в особенности таким, как высаженным практически безоружными десантникам, из которых не уцелел ни один, но все же он выглядел уж очень официальным и бездушным, несмотря на цветы, которые почти всегда лежали, вместо скромных букетиков, иногда из полыни, там у старого.

Сначала с мамой и сыном, а потом с внуками мы приезжали на улицу Десантников в общей сложности раз шестнадцать; я не

сразу привыкла к ее названию, помня старое, но очень скоро почувствовала, что и обелиска, и улицы, названной в их честь, слишком мало, чтобы помнили, помнили, помнили об этих безымянных мучениках-героях, брошенных безоружными на заклание, и о тех, чьими телами устилали под танки минные поля, и миллионах и миллионах других.

До весеннего, как я уже говорила, мы узнали и полюбили пылающий по склонам гор всеми оттенками алого матраса осенний Коктебель, задерживаясь там в 58-м и 59-м чуть ли не до конца октября. В поселке — только местные жители, да и в Литфонде было пустовато. По вечерам в комнате, где спали мама с дочкой, приходилось топить печку. Уголь давала хозяйка, Александра Петровна Якутина, или тетя Саша, как ее все звали. Она была ровесницей М.С., помнила Волошина, и все друзья М.С., знавшие тетю Сашу с незапамятных времен, очень любили и ценили ее. Возвращаясь с прогулок, мы притаскивали охапки сухого валежника для растопки.

Одновременно с нами в первую осень там жили Копелевы, и тогда же Лев Зиновьевич познакомил нас со своим другом, И.А.Кривошеиным. одним из самых благородных и замечательных людей, с какими мне когда-либо приходилось встречаться. Участник французского сопротивления, арестованный гестапо и отсидевший в Бухенвальде, он после войны вернулся с семьей в Россию, где немедленно оказался в Гулаге.

По поводу этой волны реэмигрантов по Москве ходил анекдот. Одна дама из бывших, оставшаяся в России и уцелевшая, встречает вернувшихся из эмиграции родственников: «Ну, садитесь. дураки, рассказывайте, зачем приехали?»

Чуть ли не при первой же встрече мама огорошила его вопросом, в каком из лагерей было страшнее. Не будучи знаком с нами слишком близко, хотя знал от своего друга про маму, так же как и мы про него, он ответил уклончиво, но сама уклончивость была достаточно красноречива.

Мама и в тридцатые годы всегда говорила то, что думала, и спрашивала в лоб о самом существенном, главным образом, в кругу друзей, но и не только друзей. Находились такие, которые поначалу считали ее стукачкой, и только после более длительного знакомства становились откровеннее. И в куда менее важных случаях мама не признавала условностей, считая их мещанскими предрассудками. Не было в какой-то момент сил или денег на подарок, — мама шла на день рождения и без него, а в другой раз безо всякого повода могла отдать самое дорогое. Старшему сыну Пастернака она подарила беловую рукопись первой части романа, сама боготворя Б.Л. и обожая его летящий

почерк, который называла «горделивыми птицами». А уж мне и моим детям она отдавала решительно все.

В последние годы жизни, кроме небольшой полки с книгами и фотографий (я не говорю о семейных) Сент-Экзюпери и Солженицына над кроватью, маленькой иконы Божьей Матери и еще Евангелия, всегда лежавшего на тумбочке, у нее почти ничего не было. А по поводу упомянутой фотографии А.И.Солженицын оказался прав, заявив, как уже говорилось, общим друзьям после первого знакомства с мамой: «Кажется я вытеснил из ее сердца Пастернака». Мы даже подсмеивались над такой самонадеянностью, хоть и отдавали должное его проницательности.

Следующей осенью, уезжая в Москву, мы увидели в Феодосии, прогуливающуюся по перрону Н.А.Обухову. Она никого не провожала, просто выходила вместе с подругой к московскому поезду, следуя, очевидно, еще дореволюционной традиции. Мама, немного знакомая с ней, окликнула ее; та подошла к нашему окну и разговорилась с мамой. Спросив у Надежды Андреевны разрешение, я принялась щелкать ее киноаппаратом. К сожалению, пленка оказалась уже заснятой, и после проявки Обухову едва можно было различить на фоне каких-то гор, и, что еще хуже, проносящихся машин. Так обидно, — мы все ее обожали; она, как всегда красивая, была в осенне-палевых тонах и долго махала нам вслед, а через год или два Надежды Андреевны не стало. Мои кадры были, наверное, последними из вообще немногих, запечатлевших ее. До середины пятидесятых она много лет живала в Коктебеле, сменив его в дальнейшем на Феодосию. Н.А. дружила с М.С. и порой по ее просьбе соглашалась попеть. В комнату, где она пела, аккомпанируя себе на рояле, допускались лишь самые близкие друзья старшего поколения, но на лестнице и возле дома собиралась целая толпа послушать звучавший «на неповторимых низах» голос Обуховой.

Мне хотелось бы немного рассказать об одном эстонском рыбачьем поселке на берегу Финского залива — Кясму, куда начиная с 65-го, мы ездили чуть ли не двадцать лет. В рыбачий он превратился только после войны; жители его состояли главным образом из убогих старух и нескольких рыбаков. До «освобождения» Эстонии там находилось морское училище, а в поселке жили капитаны и штурманы. Перед захватом Эстонии капитаны кораблей, стоявших у причала и подошедших с моря, не сходя на берег дали знать семьям, чтобы те все бросали и бежали к молу, дав им на сборы не более получаса. Через час все подняли якоря и ушли в Швецию. Остались только те, кому из-за старости

или болезни не под силу было так сразу тронуться с места, да еще несколько подростков, в тот момент просто не оказавшихся дома. Стариков не тронули, а молодых немедленно отправили в лагерь. Среди них был и хозяин нашего дома.

Первое, на что мы наткнулись в первый же день, отправившись прогуляться к морю и выйдя за пределы поселка, — колючая проволока, тянувшаяся вдоль всей береговой полосы (как же иначе — граница), о которой нам даже не упомянула в Москве наша знакомая, по совету которой мы туда поехали.

И еще поразившая нас деталь: сын тоже, кажется, в первый день забыл на пляже мяч. Спохватились не сразу. Приходим дня через два в полной уверенности, что не найдем. Оказывается, никто не тронул. Лет десять мы не запирали ни окна, ни двери. Потом то ли эстонцы испортились, то ли научились у нас — стали запирать.

Она рассказывала о заливах и озерах, валунах, мхах и копченой камбале, ни словом не обмолвившись о национальном символе свободы.

Углубляться в лес также не разрешалось, и закатами мы тоже любовались сквозь колючую проволоку. И все-таки мы полюбили этот поразительный по своей красоте край; стараясь не попадаться на глаза пограничникам, регулярно и в полном снаряжении совершавшим обходы, уходили в далекие прогулки в лес и на дальний залив. Правда, однажды нашу компанию со всеми детьми завернули с озера, запихали в джин и доставили обратно.

Совсем не так миролюбиво обращались с эстонцами. Недалеко от берега находился остров, куда можно было пройти по воде, и приезжавшая на субботу и воскресенье эстонская молодежь устремлялась именно туда. Там и в самом деле было чудесно: камешки, чайки, песок и полное, хоть и призрачное, ощущение оторванности от всего мира. Высмотрев в бинокль или заметив простым глазом направлявшихся к острову или возвращавшихся оттуда любителей дикой природы тащили на погранзаставу, требовали документы, штрафовали и особенно грубо, как я уже сказала, обращались с эстонцами.

В дальнейшем проволока оборвалась, столбы попадали и гулять и купаться не возбранялось нигде. Даже на злополучный остров удавалось проскакивать безнаказанно. Кясму мы не изменили и долго оставались ему верны, как и другие его почитатели, которые однажды попав туда, продолжали ездить туда многие и многие годы. Старая знакомая, с которой мы там столкнулись в лесу, а когда-то пересекались в Коктебеле, сказала: «Мой муж считает, что есть какая-то таинственная связь между

Кясму и Коктебелем». Несколькими годами раньше мы слышали от нее ту же фразу по поводу Паланги, что более соответствовало действительности. Мы там и впрямь встречали коктебельцев. Как-то на берегу мы увидели Г.Г.Нейгауза, заметив нас, он с иронической улыбкой и откидывая со лба, как делал это за роялем, треплемые ветром волосы, спросил: «Променяли Черное море на серое?» Сначала мы и сами так думали. Поехали потому, что маме после раковой операции было сказано: только не южное солнце. Но буквально в первый же день, выйдя к морю, поняли, что ничего не променяли и не потеряли. Море, разбивающееся от самого горизонта белыми пенящимися бурунами, такое настоящее и такое огромное, что не боялось никаких сравнений и ничьего соперничества, заворожило нас сразу, и в саму Палангу невозможно было не влюбиться. Небольшой, совершенно западный городок или поселок с двумя центральными улицами, выложенными большими белыми квадратными плитами и обсаженными каштанами, такими густыми, что даже в самый яркий солнечный день на тротуаре темно; чудесный костел, в его ограде небольшое кладбище, и тут же на столах продающиеся иконки, распятия, четки, поделки из янтаря. Стайки девочек в белом перед конфирмацией. Почти забытый колокольный звон, — в Москве колокола не звонили. Только в Новодевичьем с конца войны, на Страстной и, может быть, еще в двух или трех церквах. А здесь он гудел то и дело, и в будни, и в праздники, и на похоронах (когда он прозвонил в день смерти Хемингуэя в 61-м, мне казалось, конечно же, — звонит по нему).

И еще поражало непривычное у нас, — я сталкивалась потом с этим в Эстонии и Латвии, — нарядно, словно по случаю праздника одетые дети рядом с хорошо, но совсем просто и даже скромно одетыми взрослыми.

Точно так же в 52-м меня пленила совсем особенная тоже очень западная Рига, и не только своей архитектурой, готическими соборами, старым городом… От витрин цветочных магазинов с ландышами, сиренью и множеством других цветов, срезанных и в горшках, невозможно было оторваться. А на маленьких площадях, словно на дореволюционных открытках с видами Парижа, виденных мною в детстве у разных бабушек, старушки, сидя на скамейках, кормили голубей. После 1917-го года домашних голубей на заречных улицах у нас гоняли, а диких развели в Москве только после международного фестиваля молодежи 1957-го года.

Но, возвращаясь к Кясму. где кроме купанья, прогулок, закатов, общения с друзьями и не ежедневного, но довольно частого беганья в клуб, где чаще всего крутили мои любимые

французские комедии, существовало развлечение, которое наш хозяин называл «ку- плять». И правда, в те годы в маленьких окрестных городках попадались полезные вещи, трудно доступные или вовсе не существующие в Москве и Ленинграде. Сначала мы ездили на автобусах. Когда появилась машина, то набивали ее битком всеми желающими к нам присоединиться и отправлялись за покупками. Но скоро эстонцам это надоело, и они стали придерживать, что получше, на после сезона, а на некоторые вещи, вроде мохнатых полотенец, — за ними больше всего и охотились — ввели талоны. Понять их легко, так как если даже в мелких захолустных городках, куда было трудно добираться, рыскали приезжие, то в Таллине, куда мы часто наведывались побродить по старому городу или навестить тамошних друзей, от голи, снующих из одного магазина в другой и скупающих буквально все, начинала кружиться голова, мелькать в глазах и хотелось поскорее свернуть в какую- нибудь тихую, из-за отсутствия магазинов, улочку. Что же при виде этого должны были испытывать местные жители? Поэтому не приходилось удивляться на их соответственное отношение к русским. Отношение, вызванное, конечно, не только тем, что рыскали и скупали, что в общем-то извинительно, ведь у нас и через пятьдесят, и через семьдесят лет после революции не научились делать предметы первой необходимости, вроде белья, эмалированной посуды и прочей мелочи, без которой трудно обойтись. По сути, мы и в шестидесятые годы по-прежнему оставались оккупантами. Живя в Кясму каждое лето, начиная с 65-го и до 87-го, мы так и не овладели эстонским, знали не больше пятидесяти слов, — разве не позор?

А «освобождение» Эстонии нами в 44-м они запомнили накрепко, на всю жизнь. Наш хозяин, о котором уже говорилось, советских фильмов ни по телевизору, ни в клубе не смотрел никогда. Моя близкая подруга, чуть постарше меня, родившаяся в старообрядческой семье в Эстонии, воспитанная на русской культуре, любившая Россию, но не Советы, рассказывала про военные годы: если видишь на улице немецкого солдата, можно спокойно идти дальше; если советского — лучше не попадаться на глаза.

Вспоминая Кясму, нельзя не упомянуть об А.И.Цветаевой, жившей там много лет одновременно с нами и бывшей, в некотором роде одной из достопримечательностей заповедного уголка. В любую погоду, облаченная во все имеющиеся в наличии плащи, в шляпе или панаме, она в свои 70 и 80 лет метеором проносилась по поселку на почту или к друзьям, минуя за ненадобностью магазин, так как питалась в основном сырой

гречневой крупой. Заглянув к нам и не застав дома, она оставляла записки примерно такого содержания: «… зайду завтра или послезавтра между шестью и девятью вечера». Если у нее не оказывалось с собой бумаги (с карандашом не расставалась никогда), она писала на пожелтевшем листе фикуса, стоявшего на террасе.

Это была былинка, но из стали. На вопрос: «Устали после поезда?» — «Не я же его тащила, а он меня» — недоумевала она. Рассказывая, что старшая внучка просит прописать ее к себе в качестве опекуна, возмущалась: как я могу говорить, что нуждаюсь в опеке, если зимой в хорошую погоду катаюсь на беговых коньках!» Так воспитывали в немецких пансионах, заставляя вставать в пять утра, обливаться ледяной водой и держа впроголодь.

Ригористична она была во всем. Однажды вечером мы заторопились из гостей, боясь пропустить закат. Услышав, что мы ходим любоваться им ежедневно, А.И. пришла в ужас: «Каждый день смотреть закат, да так его возненавидеть можно!» Как-то она разглядела у меня на груди гранатовый крестик. «Это что, мода?!», — грозно и сурово спросила А.И. Кипя по поводу «Лолиты», она считала, что Набокова надо расстрелять за растление несовершеннолетних. «Но это не он, а его герой», — возразили ей. — «Тем хуже», — с гневом заключила А.И.

Перед первой поездкой в Кясму меня принимали в групком московских литераторов. Представив список «трудов» и принеся книги с переводами, чтобы комиссия могла с ними заранее ознакомиться, оставалось решить, что надеть, отправляясь в Гослит, где происходила церемония, так чтобы «понравиться мужчинам и не вызвать зависти у баб», — неписаный закон тех лет, которого неизменно придерживались многие жен- 1ЦИНЫ. О нем давно позабыли. Теперь дамы и девицы и в менее и в более важных случаях делают все возможное и невозможное, дабы разить мужиков наповал, прибегая даже к помощи «стилистов», которые, как уверяют, способны творить чудеса и превращать дурнушек в красавиц, не заботясь о том, какие чувства могут кипеть в душах представительниц того же пола, не сумевших стать красотками.

Одновременно со мной принимали В.Козового. Рассказывая свою биографию и «творческий путь», как полагалось ритуалом, он упомянул об аресте. «За что же вас посадили?» — раздалось со всех сторон. «По пятьдесят восьмой статье», — ответил Вадим в полной уверенности, что всем известно, что означает эта цифра (так оно и было). «А что это такое?» — выпучила глаза председатель секции переводчиков В.Станевич. II не от

старческого маразма, — обыкновенное холуйство и мелкая подлость, без которой вдове погибшего в лагерях поэта Ю.Анисимова. да в ее-то годы, вполне можно было бы обойтись.

Почти пять лет мы с семьей прожили в Протвине. Поначалу там было всего несколько улиц со стандартными пятиэтажками прямо посреди сосен, так что ночью на стене качались тени ветвей, школа, больница, детский сад еще заканчивали, здание Института физики высоких энергий и строящийся ускоритель, вокруг которого и ради которого заваривалась вся эта каша. По поводу наименования городка шли долгие препирательства между директором института и серпуховским обкомом или райкомом. Те не соглашались на Протвино и предлагали свои, против которых восставал директор. Долгое время официально он никак не назывался, — прямо как города, у которых названия нет, а этого и на карте не было. А кому-то они снятся; я так до сих пор часто вижу его и во сне, и наяву.

Поражало полное отсутствие стариков и пожилых людей, если не считать главного инженера и его заместителя, трех бабушек, включая мою маму, и нескольких врачей и учителей, не молодых, но и не слишком старых. В этом было что-то противоестественное и нечеловеческое. Зато старухи, стекавшиеся из всех окрестных деревень в магазин, где продавался не только белый хлеб, но и масло, и сахар, и колбаса, словом, все необходимое для жизни и чего в округе и не только в округе в помине не существовало, а затем в любую погоду, по бездорожью и по обледеневшему зимой подвешенному через Протву мостику с проволокой с одной стороны, чтобы ухватиться, тащившие, перекинув их через плечо, тяжеленные мешки, — это была уже привычная и родная картина.

Московская приятельница после нашего переселения спрашивала: «Ну, как вы там у себя в «Юрятине», даже не подозревая, что рядом с нами есть деревня с таким названием.

Как и во всяком уважающем себя городе, независимо от его размеров, а особенно в спец., то есть привилегированном городке, существовала своя элита, своя иерархия. Ей (элите) в первую очередь предоставили коттеджи. Элитные жены заводили знакомства с кассиршей клуба, продавцами, в первую очередь с мясником — весьма важной персоной в поселке. Тот совершенно безвозмездно отпускал куски получше первым дамам города, а в дальнейшем, когда открылся маленький магазин, где можно было делать заказы (к тому времени с продуктами стало похуже и даже заказы были не ахти), тем же дамам из-под прилавка он доставал осетрину, всякую водоплавающую и неводоплавающую птицу и другие деликатесы. Здание магазинчика сначала предназначалось

для каких-то других более важных целей, — принимать его приходила большая комиссия, в том числе и директор института, а мы наблюдали с балкона. После того как маме трудно стало много гулять, мы частенько сиживали с ней на балконе, здороваясь и переговариваясь со всеми проходившими мимо знакомыми. В лицо-то знали практически всех. Ну а более любознательные знали решительно всех и все про всех. Некоторых это раздражало и выводило из себя. Когда одному сотруднику института кассирша в магазине, видя, что он роется в бумажнике в поисках мелочи, сказала: «Не ищите, я сегодня вашей жене не додала 20 копеек», он долго не мог такое переварить и находил, что это уже слишком. В конце концов его семья вернулась в Ленинград. А мне даже нравился провинциальный стиль жизни, возможно потому, что мы не собирались там оседать навеки.

Устройство на работу жен, если они сами не были физиками или инженерами, представляло серьезную проблему. Нельзя же было до бесконечности разводить секретарш, а издательский отдел, куда их обычно пристраивали, тоже был не резиновый. Правда, когда одна бойкая жена, возмущенная отказом, отправилась в серпуховской горком и заявила, что если партия не вмешается, распадется советская семья, институт вынужден был создать для нее еще одно место.

Ускоритель строили совместно с французами. Строили вместе, но общаться с ними помимо работы не полагалось. Однажды там даже появился Помпиду и в сопровождении кортежа проехал по всем улицам (а мы опять наблюдали с балкона).

Провинция, что и говорить. Появятся в магазине французские туфли, английские сапоги или нейлоновые кофточки, английский сатин и лионский бархат, — на следующий день их можно увидеть на всех нротвинских женщинах. Приехав как-то к нам и не застав дома, один старый приятель разыскал нас в Доме культуры (ДК, как все тогда уже говорили), где мы стояли у раздевалки. Посмотрев на мои ноги и ноги нашей подруги-соседки, он удивился: «Настя, почему у Вас такие же туфли, как у Ларисы?» «Да потому, что это провинция».

А другой наш друг, Д.М.Панин, восхищался окружающей природой.

Я и вправду никогда раньше не видела такого количества ландышей, лесных колокольчиков, полян, усеянных бубенчиками и фиалками, таких разливов — «река раскинулась как море…» и столько соловьев и всяких других птиц, так что, когда город разрастался, сметая на своем пути всю эту красоту, я не однажды

плакала, «как лес вырубали».

Так вот Д.М. считал, что на вопрос «Как живете», мы должны отвечать: «Как в раю». В другой раз, наблюдая, как муж, стоя на корточках в прихожей, решает с товарищем по телефону какое-то уравнение, — «Прямо, как в кино» — восторгался он.

Однако в этом райском уголке царили законы социалистического рая. Как-то мы дали нашим протвин- ским друзьям машинопись «Круга первого», не оговаривая, что имеем в виду только их, но и не предполагая, что те созовут к себе весь теоретический отдел для совместного чтения. Через два дня директор вызвал к себе мужа и сделал соответствующее внушение, потребовав, чтобы впредь он не занимался распространением самиздата. «Я же давал читать только друзьям», — объяснил муж, на что тот ответил: «Не забывай, что у твоих друзей есть жены». Пожалуй, в Москве и впрямь это не сошло бы так легко с рук.

А из всех окон этого рая с утра до поздней ночи неслись отнюдь не ангельские голоса, — стандартный репертуар тех лет. Ландыши отзвенели, но Шульженко продолжала кружиться в устаревшем вальсе, Криста- линская взывала к аисту, моля еще об одном сыне, распевала об удивительном соседе Пьеха, еще чаще звенела Морзянка и песенка из «Кавказской пленницы», и заглушал все это хриплый баритон, твердя, что лучше гор могут быть только горы. И все одновременно из каждого окна, а тихо, так что слышно было только соседям по балкону, запускали Галича.

В декабре 70-го мы переехали в Москву. Перед отъездом я бродила по любимым полям и вдоль Про- твы, прощаясь и грустя, как пушкинская Татьяна, сознавая, что эта счастливая пора уже никогда не повторится.

P.S. В последние годы жизни мамиными любимыми строчками были ахматовские:

Когда я называю по привычке Моих друзей забытых имена, Всегда на этой странной перекличке Мне отвечает только тишина…

И сейчас я все чаще и чаще повторяю про себя именно их.

notes

Примечания

1

Отдельные фрагменты книги публиковались в журналах «Знамя» и «Волга».

2

Актриса студии М.Чехова, потом Таирова.

3

Все письма Пастернака к моей матери сейчас опубликованы. См.: Переписка Б.Пастернака с М.Баранович. М.: МИК, 1998.

4

В школах тогда полагалось писать не уже появившимися в обиходе заправляющимися чернилами авторучками, а только теми, которые представляли собой собственно только перо на деревянной рукоятке, которое необходимо было постоянно обмакивать в специальную чернильницу, — так уже моим детям в первых классах не позволяли, наоборот, писать шариковыми ручками, а требовали тех самых, которые возбранялись нам.

5

Поливанов М.К. Предисловие к отрывку из воспоминании Н.Я.Мандельштам // Юность. 1988. Август.

6

В конце войны Наталья Александровна, дружившая с Шаламо- вым, приносила маме его письма и стихи для передачи Пастернаку.